

ЗЕМНЫЕ АНГЕЛЫ

Повести и рассказы
о русских архиереях



Лев Толстой
Земные ангелы (сборник)

Православное издательство "Сатись"

2002

Толстой Л. Н.

Земные ангелы (сборник) / Л. Н. Толстой — Православное издательство "Сатись", 2002

ISBN 5-7373-1186-2

В книгу вошли повести и рассказы о русских архиереях русских писателей, известных и не очень. Время жизни и трудов героев книги пришлось на конец XIX – конец XX столетий. Места, где происходят описываемые события – епархии Российской империи, блокадный Ленинград, Лондон. При столь различных временах, местах и условиях служения их объединяют черты, характерные для лучших представителей русского епископата: искренняя вера и преданность Господу, забота о своей пастве и простота, доступность и нестяжательство.

ISBN 5-7373-1186-2

© Толстой Л. Н., 2002
© Православное издательство
"Сатись", 2002

Содержание

Повести	6
Николай Лесков	6
Глава первая	6
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвертая	15
Глава пятая	17
Глава шестая	23
Глава седьмая	29
Глава восьмая	31
Глава девятая	34
Глава десятая	35
Глава одиннадцатая	38
Глава двенадцатая	40
Глава тринадцатая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Земные ангелы (сборник)
Повести и рассказы о русских архиереях

© Издательство «Сатисъ», 2002

Повести



Николай Лесков На краю света



Глава первая

Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек, но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что пра-

вительство разрешило теперь трудиться на пользу Слова Божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два – четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

– Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

– Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, – отвечал капитан Б., и сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

– Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, – я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее... заставляет их толковать все... слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил:

– Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России Господа Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

– Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улыбнулся и сказал:

– А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать – давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

– Вот наш Господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений Его лица. Вот Он сидит у кладезя с женой самаритянской – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо, и момент.

– Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, – отвечал Б.

– Однако нет ли здесь в Божественном лице излишней мягкости? не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж – ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнею.

– Вы правы, может быть, владыко.

– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь Господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

– Прекрасный лик!

– Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

– Конечно, это есть, владыко.

– О, да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб, и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого... только, впрочем, не у Христа, Который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе

не может. вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала – Тициан: перед Господом стоит коварный фарисей с динарием.

Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос... Христос... Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на Его лице?

– Оно и быть могло, владыко!

– Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю Господа и думаю, что это неудобно. Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к Нему молитвы.

– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился; но, впрочем, что же?... момент дипломатический. Но пойдете далее: вот тут уже, с этих мест, у меня начинаются одинокие изображения Господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот Он, еще... какой страдалец... какой ужасный вид придал Ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он Его так избил, иссек и искровянил?... Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки... весь дух, кажется, из Него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно... Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон, может быть, и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе Его себе и нам представил: фигура спокойная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутятся, легли на лоб. Красиво, право! а на руке Его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacre Coeur», 1 «Пресвятое сердце» (франц.); особый чувственно-сентиментальный религиозный культ. что отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот там, не совсем на месте – в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как Он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится, из этой тьмы; за Ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, – ничего этого нет, а только тьма... тьма фантазии. Эта дама – пошли ей Бог здоровья – первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам Его покажут, а всем, кому хочется, чтобы Он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только Он ли туда придет? Не пришел бы под Его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать... И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один все нам на потребу! Закроем теперь все это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиною: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, – а лик. Типическое русское изображение Господа: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? Это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть-чуть слегка означены, а

впечатление полно; мужиковат Он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял – Кого ему надо было написать. Мужиковат Он, повторяю вам, и в зимний сад Его не позовут послушать канареек, да что беды! – где Он каким открылся, там таким и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать, Ему это нравится – принимать с нами поношения от тех, кто пьет Кровь Его и Ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты Его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

– Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

– А, просите? – так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлялись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

Глава вторая

– Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодым человеком был поставлен во епископы, в весьма отдаленную Сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава Богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовью заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

– Чудесное! – воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

– Да, господа, обмолвясь словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать, – не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикуую епархию. Первое дело, с которого начинается свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, – к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на Горнее место, а наипаче всего не наделять тумачами и подзагравками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати Святого Духа, недели по две и загорбок, и шея болят. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, – надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли приветчики читать хоть уж если не по писанному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или, по крайней мере «неписьменный», дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в полу-

чении жалованья. Но тогда, – во время оно, да еще в Сибири, – это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня, разумеется, плакались и прозвали меня «лютым»; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей «церкви разоряет». Что тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и – о Боже! – что за людей я видел! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какие-то одержимые. Один вместо «приидите, поклонимся Цареву нашему Богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «Плитимбоу, плитимбоу» – и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой – уж это именно был одержимый, – он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси...» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится Имя Твое, да приидет Царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, – читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «Да святится Имя Твое», и залопотал до конца, и возглашает: «От лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков очередь переходит к благонравию семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распушена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «Упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святой: Троица Святая, – мое Вам почтение»; а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишиться и «Небесного Царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! Нажрался, да еще в Царство Небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, – тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютости в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

– Я, – говорит, – ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

– Хорошо, – отвечаю, – примись по-военному...

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока не скомандует, все безмолвствуют; скомандует: «Молитву!» – и запоют. Но этот уже очень «по-военному» уставил; скомандует: «Молит-в-у-у!» Семинаристы только запоют: «Очи всех, Господи, на Тя упов...» – он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» – и подзывает одного:

– Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

– Ты Багреев?

– Нет-с, я Фролов.

– А-а, ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу – не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благоразумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе.

Насилу этих своею «лютостью» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середину въехал и не может выехать. Посылают узнавать; говорят: действительно так. Протопоп был тучный; после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим случилось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг... воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже

противно делается, а разделяется, так, пожалуй, что даже противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава Богу, говорит, из отца протопопа воз сеном уже выехал».

– Очень рад, – говорю, – таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоп, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: *credo, quia absurdum*.
1 Верю, потому что нелепо (лат.).

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелил.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей насмешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользоваться; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, – они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этакие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампы, и приходская часть мне через них невыносимо докучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел на них вплотную, так что и от стола не отхожу.

Глава третья

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру – ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с Его апостолами, и Будде с его буддисидами да тенгернами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки Бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириак, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

– Что это, – спрашиваю, – за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но экклезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает: «Душу за моего Хри-

ста положить рад, а крестить там (то есть в пустыне) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишиться, но туда не посылать. И от священнодействия много лет был за это ослушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

– Как? – удивляюсь. – Неужто даже и язычниками?

– Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

– За каким же делом?

– Уважают его как-то истари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

– Да каков он был в то, в прежнее-то время?

– Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

– Что же ему такое сделалось? Отчего он бросил эту деятельность?

– Понять нельзя, владыко; вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

– Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

– Не знаю, владыко.

– Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, Господь обещал изблевать с уст Своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой еkkлезиарх оправдывается.

– Всячески, – говорит, владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает: «Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, – это страшное... я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это еkkлезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было». Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбливаю этот ассортимент «слывущих», которых вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбливать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивного Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принасутился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать: одет в облянялой коленкоровой ряске, клубок толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

– Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

– Ты что это здесь чудишь, приятель?

– Как, – говорит, – владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо туг – не все дослышал.

Я еще громче повторил:

– Теперь, мол, понял?

– Нет, – отвечает, – ничего не понял.

– А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?

– Я, – говорит, – владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

– Да, мол; а опыт получивши, и перестал?

– Перестал.

– Что же сему за причина?

Вздыхнул и отвечает:

– В сердце моем сия причина, владыко, и Сердцеведец ее видит, что велика она и мне, немощному, непосильна... Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился.

Я его поднял и говорю:

– Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с Самим Богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

– Не смейся, владыко, я не Моисей, Божий избранник, чтобы мне с Богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла, и смягчился, и говорю ему:

– Так что же? За чем дело?

– А за тем, владыко, и дело, – отвечает, – что я не Моисей, что я, владыко, робок и свою силу-меру знаю: из Египта-то языческого я вывести – выведу, а Чермного моря не рассеку и из степи не выведу, и воздвигну простые сердца на ропот к преобиде Духа Святого.

Видя этакую образованность в его живой речи, я было заключил, что он, вероятно, сам из раскольников, и спрашиваю:

– Да ты сам-то каким чудом в единение с церковью приведен?

– Я, – отвечает, – в единении с нею с моего младенчества и пребуду в нем даже до гроба.

И рассказал мне препростое и престранное свое происхождение. Отец у него был поп, рано овдовел; повенчал какую-то незаконную свадьбу и был лишен места, да так, что всю жизнь потом не мог себе его нигде отыскать, а состоял при некоей пожилой важной даме, которая всю жизнь с места на место ездила и, боясь умереть без покаяния, для этого случая сего попа при себе возила. Едет она – он на передней лавочке с нею в карете сидит; а она в дом войдет – он в передней с лакеями ее ожидает. И можете себе вообразить человека, у которого этакая была вся жизнь! А между тем он, не имея уже своего алтаря, питался буквально от своей Дароносицы, которая с ним за пазухою путешествовала, и на сынишку он у этой дамы какие-то крохи вымаливал, чтобы в училище его содержать. Так они и в Сибирь попали: барыня сюда поехала дочь навестить, которая была тут за губернатором замужем, и попа с Дароносицей на передней лавочке привезла. Но как путь был далекий, да к тому же еще барыня тут долго оставаться собиралась, то попик, любя сынишку, не соглашался без него ехать. Барыня подумала-подумала – и, видя, что ей родительских чувств не переупрямить, согласилась и взяла с собою и мальчишку. Так он сзади за каретою переехал из Европы в Азию, имея при сем путевым долгом охранять своим присутствием привязанный на запятках чемодан, на котором и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тут и его барыня и его отец умерли, а он остался, за бедностию курса не кончил, в солдаты попал, этап водил. Имея меткий глаз, по приказанию начальства, не целясь, вдогон за каким-то беглым пулю пустил и без желанья, на свое горе, убил того, и стой поры он все страдал, все мучился и, сделавшись негодным к службе, в монахи пошел, где его отличное поведение было замечено, а знание инородческого языка и его религиозность побудили склонить его к миссионерству.

Выслушал я эту простую, но трогательную повесть старика, и стало мне его до жуткости жалко, и чтобы переменить с ним тон, я ему говорю:

– Так, стало быть, это, что подозревают, будто ты чудеса какие-нибудь видел, это неправда?

Но он отвечает:

– Отчего же, владыко, неправда?

– Как?... так ты видел чудеса?

– Кто же, владыко, чудес не видел?

– Однако?

– Что однако? Куда ни глянь – все чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как перышко; вот мы с тобою прах и пепел, а движемся, и мыслим, и то мне чудесно; а умрем, и

прах рассыпется, а дух пойдет к Тому, Кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдет? Кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почует?

– Ну, это-то, мол, мы оставим другим рассуждать, а ты скажи мне, не виляя умом: не было ли с тобою в жизни каких-либо необычайных явлений или чего иного в сем роде?

– Было отчасти и это.

– Что же такое?

– Очень, – говорит, – владыко, с детства я был взыскан Божию милостию и недостойно получал дважды чудесные заступления.

– Гм? Рассказывай.

– Первый раз это было, владыко, в сущем младенчестве. В третьем классе я был еще, и очень мне в поле гулять идти хотелось. Мы, трое мальчишек, пошли у смотрителя рекреацию просить, да не выпросили и решились солгать, а зачинщик всему тому я был. «Давай, – говорю, ребята, всех обманем, побежим и закричим: отпустил, отпустил!» Так и сделали; все с нашего слова и разбежались из классов и пошли гулять и купаться да рыбчонку ловить. А к вечеру на меня страх и напал: что мне будет, как домой вернемся? – запрет смотритель. Прихожу и гляжу – уже и розги в лохани стоят; я скоре драла, да в баню, спрятался под полоч, да и ну молиться: «Господи! Хоть нельзя, чтобы меня не пороть, но сделай, чтобы не пороли!» И так усердно об этом в жару веры молился, что даже запотел и обессилел; но тут вдруг на меня чудной прохладой тихой повеяло, и у сердца как голубок тепленький зашевелился, и стал я верить в невозможность спасения как в возможное, и покой ощутил и такую отвагу, что вот не боюсь ничего, да и кончено! И взял да и спать лег: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричат: «Кирюшка! Кирюшка! Где ты? Вылезай скорей, – тебя пороть не будут, ревизор приехал и нас гулять отпустил».

– Чудо, – говорю, – твое простое.

– Просто и есть, владыко, как Сама Троица во Единце – Простое Существо, – отвечал он и с неописанным блаженством во взоре добавил: – Да ведь как я, владыко, Его чувствовал! Как пришел-то Он, батюшка мой, отрадненький! Удивил и обрадовал. Сам суди: всей Вселенной Он не в обхват, а, видя ребячью скорбь, под банный полочек к мальчонке подполз в душе хлада тонка и за пазушкой обитал...

Я вам должен признаться, что я более всяких представлений о Божестве люблю этого нашего русского Бога, Который творит Себе обитель «за пазушкой». Тут, что нам господа греки ни толкуй и как ни доказывай, что мы им обязаны тем, что и Бога через них знаем, – а не они нам Его открыли; не в их пышном византийстве мы обрели Его в дыме каждений, а Он у нас свой, притоманный, и по-нашему, попросту, всюду ходит, и под банный полочек без ладана в душе хлада проникает, и за теплой пазухой голубком приборкается.

– Продолжай, – говорю, – отец Кириак, – о другом чуде рассказа жду.

– Сейчас и про другое, владыко. Это было, как я стал уже дальше от Него, помалочнее, – это было, как я сюда за каретою ехал. Взять меня надо было из российского училища и сюда перевести перед самым экзаменом. Я не боялся, потому что первым учеником был и меня бы без экзамена в семинарию приняли; а смотритель возьми да и напиши мне свидетельство во всем посредственное. «Это, – говорит, – нарочно, для нашей славы, чтобы тебя там экзаменовали стали и увидали, каковых мы за посредственных считаем». Горе было нам с отцом ужасное; а к тому же, хотя отец меня и заставлял, чтобы я дорогою, на запятках сидя, учился, но я раз заснул и, через речку вброд переезжая, все книжки свои потерял. Сам горько плачучи, отец престоко меня за это на постоялом дворе выпорол; а все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! Сделай, чтобы меня без экзамена приняли». Нет; как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и в чехарду друг через дружку прыгают, – один я такой, да еще другой, тощий-претоший, мальчишка сидит, не учится – так, от

слабости, говорит: «Лихорадка забила». А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом: «Ну что же? Думаю, ведь уж как я Тебя просил, а Ты вот ничего и не сделал!» И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило... Я подумал: «Это, верно, за наказание! Помочь-то Бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил». Ан, смотрю, нет: это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал и меня сбил. А другие мне говорят: «Гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается». Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили, а отец туда пришел и говорит: «Не тужи, Кирюшка, тебя зато теперь без экзамена приняли». Тут я и понял, как Бог-то все устроил, и плакать стал... А экзамен-то легкий-прелегкий был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил, но и то исполнено, да еще с вразумлением.

– Ах ты, – говорю, – отец Кириака, отец Кириака, да ты человек преутешительный!.. – Расцеловал я его неоднократно, отпустил и, ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгузскому и якутскому языку.

Глава четвертая

Но отступив со своею суровостию от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни Кириакова простодушия и никакого дела на службу веры полезного: живут себе таким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего, ленивцы, не делают – даже языку туземному ни один не озаботился научиться.

Щунял я их, щунял келейно и, наконец, с амвона на них громыхнул словом царя Ивана к преподобному Гурию, что «напрасно-де именуют чернецов ангелами, – нет им с ангелами сравнения, ни какого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить!»

Кириак приходит ко мне на другой день урок давать и прямо мне в ноги:

– Что ты? Что ты? – говорю, подымая его. – Учителю благий, тебе это не довлеет ученику в ноги кланяться.

– Нет, владыко, уж очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизнь не чаял такого утешения!

– Да чем, – говорю, Божий человек, ты так мною обрадован?

– А что велишь монахам учиться, да идучи вперед учить, а потом крестить; ты прав, владыко, что такой порядок устроил, его и Христос велел, и приточник поучает: «... идеже несть учения души, несть добра». Крестить-то они все могучи, а обучить слову нетяги.

– Ну, уж это, – говорю, – ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил; этак ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить.

– Дети христианские другое дело, владыко.

– Ну да; и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них научености ждал.

А он мне отвечает:

– Эх, владыко, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было. А то сам, чай, в летописи читал – все больно скоро варом вскипело, «понеже благочестие его со страхом бе сопряженно». Платон митрополит мудро сказал: «Владимир поспешил, а греки слукавили, – невежд ненаученных окрестили». Что нам их спешке с лукавством следовать? Ведь они, знаешь, «льстивы даже до сего дня». Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облакаемся. Тщетно это так крестить, владыко!

– Как, – говорю, – тщетно? Отец Кириак, что ты это, батюшка, проповедуешь?

– А что же, – отвечает, владыко? Ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит.

Посмотрел я на него и говорю серьезно?

– Послушай, отец Кириак, ведь ты еретичествоешь.

– Нет, – отвечает, – во мне нет ереси, я по тайноводству святого Кирилла Иерусалимского правоверно говорю: «Симон Волхв в купели тело омочи водою, но сердце не просвети духом, и сниде, и изыде телом, а душою не спогребеся, и не возста». Что окрестился, что выкупался, все равно христианином не было. Жив Господь и жива душа твоя, владыко, – вспомни, разве не писано: и будут и крещеные, которые услышат «не вем вас», и некрещеные, которые от дел совести оправдятся и внидут, яко хранившие правду и истину. Неужели же ты сие отмечаешь?

Ну, думаю, подождем об этом беседовать, и говорю:

– Давай-ка, – говорю, – брат, не иерусалимскому, а дикарскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись, если я не толков буду.

– Я не сердит, владыко, – отвечает.

И точно, удивительно был благодушный и откровенный старик и прекрасно учил меня. Толково и быстро открыл мне таинства, как постичь эту молвь, такую бедную и немногословную, что ее едва ли можно и языком назвать. Во всяком разе это не более как язык жизни животной, а не жизни умственной; а между тем усвоить его очень трудно: обороты речи, краткие и непериодические, делают крайне затруднительным переводы на эту молвь всякого текста, изложенного по правилам языка выработанного, со сложными периодами и подчиненными предложениями; а выражения поэтические и фигуральные на него вовсе не переводимы, да и понятия, ими выражаемые, остались бы для этого бедного люда недоступны. Как рассказать им смысл слов: «Будьте хитры, как змеи, и незлобивы, как голуби», когда они и ни змеи, и ни голубя никогда не видали и даже представить себе не могут. Нельзя им подобрать слов: ни мученик, ни Креститель, ни Предтеча, а Пресвятую Деву если перевести по-ихнему словами шочмо Абя, то выйдет не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, – короче сказать – богиня. Про заслуги же Святой Крови или про другие тайны веры еще труднее говорить, а строить им какую-нибудь богословскую систему или просто слово молвить о рождении без мужа, от девы, – и думать нечего: они или ничего не поймут, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо в глаза расхохочутся.

Все это мне передал Кириак, и передал так превосходно, что я, узнав дух языка, постиг и весь дух этого бедного народа; и что всего мне было самому над собою забавнее, что Кириак с меня самым незаметным образом всю мою напускную суровость сбил: между нами установились отношения самые приятные, легкие и такие шуточные, что я, держась сего шуточного тона, при конце своих уроков велел горшок каши сварить, положил на него серебряный рубль денег да черного сукна на рясу и понес все это, как выученик, к Кириаку в келью.

Он жил под колокольнею в такой маленькой келье, что как я вошел туда, так двоим и повернуться негде, а своды прямо на темя давят; но все тут опрятно, и даже на полутемном окне с решеткою в разбитом варистом горшке астра цветет.

Кириака я застал за делом – он низал что-то из рыбьей чешуи и нашивал на холстик.

– Что ты это, – говорю, – стряпаешь?

– Уборчики, владыко.

– Какие уборчики?

– А вот девчонкам маленьким дикарские уборчики: они на ярмарку приезжают, я им и дарю.

– Это ты язычниц неверных радуешь?

– И-и, владыко! Полно-ка тебе все так: «неверные» да «неверные»; всех Один Господь создал; жалеть их, слепых, надо.

– Просвещать, отец Кириак.

– Просветить, – говорит, – хорошо это, владыко, просветить. Просвети, просвети, – и зашептал: «Да просветится свет твой пред человеки, когда увидят добрыя твои дела».

– А я вот, – говорю, – к тебе с поклоном пришел и за выучку горшок каши принес.

– Ну что же, хорошо, – говорит, – садись же и сам при горшке посиди – гость будешь.

Усадил он меня на обрубочек, сам сел на другой, а кашу мою на скамью поставил и говорит:

– Ну, покушай у меня, владыко; твоим же добром да тебе же челом.

Стали мы есть со стариком кашу и разговорились.

Глава пятая

Меня, по правде сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака от его успешной миссионерской деятельности и заставила так странно, по тогдашнему моему взгляду – почти преступно или во всяком случае соблазнительно относиться к этому делу.

– О чем, – говорю, станем беседовать? – к доброму привету хороша и беседа добрая. Скажи же мне: не знаешь ли ты, как нам научить вере вот этих инородцев, которых ты все под свою защиту берешь?

– А учить надо, владыко, учить, да от доброго жития пример им показать.

– Да где же мы с тобою их будем учить?

– Не знаю, владыко; к ним бы надо с научением идти.

– То-то и есть.

– Да, учить надо, владыко; и утром сеять семя, и вечером не давать отдыха руке, – все сеять.

– Хорошо, говоришь, отчего же ты так не делаешь?

– Освободи, владыко, не спрашивай.

– Нет уж, расскажи.

– А требуешь рассказать, так поясни: зачем мне туда идти?

– Учить и крестить.

– Учить? Учить-то, владыко, неспособно.

– Отчего? Враг, что ли, не дает?

– Не-ет! что враг, – велика ли он для крещеного человека особа: его одним пальчиком перекрести, он и сгинет; а вражки мешают, – вот беда!

– Что это за вражки?

– А вот куцые одетели, отцы благодетели, приказные, чиновные, с приписью подьячие.

– Эти, стало быть, самого врага сильней?

– Как же можно: сей род, знаешь, ничем не изымается, даже ни молитвою, ни постом.

– Ну, так надо, значит, просто крестить, как все крестьян.

– Крестить... – проговорил за мною Кириак, и вдруг замолчал и улыбнулся.

– Что же? Продолжай.

Улыбка сошла с губ Кириака, и он с серьезною и даже суровою миной добавил:

– Нет, я скорохватом не хочу это делать, владыко.

– Что-о-о!

– Я не хочу этого так делать, владыко, вот что! – отвечал он твердо и опять улыбнулся.

– Чего ты смеешься? – говорю. – А если я тебе велю крестить?

– Не послушаю, – отвечал он, добродушно улыбувшись и, фамильярно хлопнув меня рукою по колену, заговорил:

– Слушай, владыко, читал ты или нет, – есть в житиях одна славная повесть.

Но я его перебил и говорю:

– Поосвободи, пожалуйста, меня с житиями: здесь о Слове Божиим, а не о преданиях человеческих. Вы, чернецы, знаете, что в житиях можно и того, и другого достать, и потому и любите всё из житий хватать.

А он отвечает:

– Дай же мне, владыко, кончить; может, я и из житий что-нибудь прикладно скажу.

И рассказал старую историю из первых христианских веков о двух друзьях – христианине и язычнике, из коих первый часто говорил последнему о христианстве и так ему этим надокучил, что тот, будучи до тех пор равнодушен, вдруг стал ругаться и изрыгать самые злые хулы на Христа и на христианство, а при этом его подхватил конь и убил. Друг христианин видел в этом чудо и был в ужасе, что друг его язычник оставил жизнь в таком враждебном ко Христу настроении. Христианин сокрушался об этом и горько плакал, говоря: «Лучше бы я ему совсем ничего о Христе не говорил, – он бы тогда на него не раздражался и ответа бы в том не дал». Но, к утешению его, он известился духовно, что друг его принят Христом, потому что, когда язычнику никто не докучал назойливостью, то он сам с собою размышлял о Христе и призвал Его в своем последнем вздохе.

– А Тот, – говорит, – тут и был у его сердца: сейчас и обнял, и обитель дал.

– Это опять, значит, все дело свертелось «за пазушкой»?

– Да, за пазушкой.

– Вот это-то, – говорю, – твоя беда, отец Кириак, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

– Ах, владыко, да как же на нее не полагаться: тайны-то уже там очень большие творятся – вся благодать оттуда идет: и материно молоко детопитательное, и любовь там живет, и вера. Верь – так, владыко. Там она, вся там; сердцем одним ее только и вызовешь, а не разумом. Разум ее не созидает, а разрушает: он родит сомнения, владыко, а вера покой дает, радость дает... Это, я тебе скажу, меня обильно утешает; ты вот глядишь, как дело идет, да сердисься, а я все радуюсь.

– Чему же ты радуешься?

– А тому, что все добро зело.

– Что такое: добро зело?

– Все, владыко: и что там указано, и что от нас сокрыто. Я думаю так, владыко, что мы все на один пир идем.

– Говори, сделай милость, ясней: ты водное крещение-то просто-напросто совсем отмечаешь, что ли?

– Ну вот: и отмечаю! Эх, владыко, владыко! Сколько я лет томился, все ждал человека, с которым бы о духовном свободно по духу побеседовать, и, узнав тебя, думал, что вот такого дождался; а и ты сейчас, как стряпчий, за слово емлешься! Что тебе надо? Слово всяко ложь, и я тож. Я ничего не отмечаю; а ты обсуди, какие мне приклады разные приходят – и от любви, а не от ненависти. Яви терпение, – вслушивайся.

– Хорошо, – отвечаю, – буду слушать, что ты хочешь проповедовать.

– Ну, вот мы с тобою крещены, – ну, это и хорошо; нам этим как билет дан на пир; мы и идем, и знаем, что мы званы, потому что у нас и билет есть.

– Ну!

– Ну а теперь видим, что рядом с нами туда же бредет человек без билета. Мы думаем: «Вот дурачок! Напрасно он идет: не пустят его! Придет, а его привратники вон выгонят». А придем и увидим: привратники-то его погонят, что билета нет, а хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, – скажет: «Ничего, что билета нет, – я его и так знаю: пожалуй, входи», – да и введет, да еще, гляди, лучше иного, который с билетом пришел, станет чествовать.

– Ты, – говорю, – это им так и внушаешь?

– Нет; что им это внушать? Это я только про себя так о всех рассуждаю, по Христовой доброты да мудрости.

– Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?

– Где, владыко, понимать! ее не поймешь, а так... что сердце чувствует, говорю. Я, когда мне что нужно сделать, сейчас себя в уме спрашиваю: можно ли это сделать во славу Христову? Если можно, так делаю, а если нельзя – того не хочу делать.

– В этом, значит, твой главный катехизис?

– В этом, владыко, и главный, и не главный, – весь в этом; для простых сердец это, владыко, куда как сподручно! Просто ведь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человека без помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимают и хвалят: «Хорош, говорят, ваш Христосик – праведный» – по-ихнему это так выходит.

– Что же... это, пожалуй, хоть и так, – хорошо.

– Ничего, владыко, изрядно; а вот что мне нехорошо кажется: как придут новокрещенцы в город и видят все, что тут крещенные делают, и спрашивают: можно ли то во славу Христову делать? что им отвечать, владыко? Христиане это тут живут или нехристи? Сказать: «нехристи» – стыдно, назвать христианами – греха страшно.

– Как же ты отвечаешь?

Кириак только рукой махнул и прошептал:

– Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понял, что его религиозная мораль попала в столкновение со своего рода «политикою». Он Тертуллиана «О зрелищах» читал и вывел, что «во славу Христову» нельзя ни в театры ходить, ни танцевать, ни в карты играть, ни многого иного творить, без чего современные нам, наружные христиане уже обходиться не умеют. Он был своего рода новатор и, видя этот обветшавший мир, стыдился за него и чаял нового, полного духа и истины.

Как я ему это намекнул, он мне сейчас и поддакнул.

– Да, – говорит, – да, эти люди плоть, а что плоть-то показывать? Ее надо закрывать. Пусть хотя не хулятся через них Имя Христово в языцах.

– А зачем это к тебе, говорят, будто инородцы и до сих пор приходят?

– Верят мне и приходят.

– То-то; зачем?

– Поспорят когда или поссорятся, и идут: «Разбери, говорят, по-христосикову».

– Ты и разбираешь?

– Да, я обычай их знаю; а ум Христов приложу и скажу, как быть.

– Они и примут?

– Примут: они его справедливость любят. А другой раз больные приходят или бесноватые, – просят помолиться.

– Как же ты бесных лечишь? Отчитываешь, что ли?

– Нет, владыко; так, помолюсь, да успокою.

– Ведь на это их шаманы слынут искусниками.

– Так, владыко, – не ровен шаман; иные и впрямь немало тайных сил природных знают; ну да ведь и шаманы ничего... Они меня знают и иные сами ко мне людей шлют.

– Откуда же у тебя и с шаманами приязнь?

– А вот как: ламы буддийские на них гонение сделали; их, этих шаманов, тогда наши чиновники много в острог забрали, а в остроге дикому человеку скучно: с иными Бог весть что делается. Ну я, грешник, в острог ходил, калачиков для них по купцам выпрашивал и словцом утешал.

– Ну и что же?

– Благодарны, берут Христа ради и хвалят Его: хорош, говорят, добр. Да ты молчи, владыко, они сами не чувствуют, как края ризы Его касаются.

– Да ведь как, – говорю, – касаются-то? Все ведь без толку!

– И, владыко! Что ты все сразу так сунешься! Божие дело своей ходой, без суеты идет. Не шесть ли водоносов было на пиру в Канне, а ведь не все их, чай, сразу наполнили, а один за другим наливали; Христос, батюшка, сам уже на что велик Чудотворец, а и то слепому жиду прежде поплевал на глаза, а потом открыл их; а эти ведь еще слепее жиды. Что от них сразу-то много требовать? Пусть за краек Его ризочки держатся – доброту его чувствуют, а он их сам к себе уволочет.

– Ну вот, уже и «уволочет»!

– А что же?

– Да какие ты слова-то неуместные употребляешь.

– А чем, владыко, неуместное, – слово простое. Он, Благодетель наш, ведь и Сам не боярского рода, за простоту не судится. Род Его кто исповесть; а Он с пастухами ходил, с грешниками гулял и шелудивой овцой не брезговал, а где найдет ее, взвалит Себе, как она есть, на святые рамена и тащит к Отцу. Ну а Тот... что Ему делать? Не хочет многострадального Сына огорчать, – замарашку ради Его на двор овчий пустит.

– Ну, – говорю, – хорошо; в катехизаторы ты, брат Кириак, совсем не годишься, а в крестители ты, хоть и еретичествуешь немножко, однако пригоден, и как себе хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Кириак ужасно взволновался и расстроился.

– Помилуй, – говорит, – владыко: к чему тебе меня нудить? Да запретит тебе Христос это сделать! И ничего из этого не последует, ничего, ничего и ничего!

– Отчего же это так?

– Так; потому что сия дверь для нас затворена.

– Кто же ее затворил?

– А тот, который имеет ключ Давидов: «Отверзаяй и никто же отворит, затворяяй и никто же отверзет». Или ты Апокалипсис позабыл?

– Кириак, – говорю, – многия книги безумным ты творят.

– Нет, владыко, я не безумен, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь, и Духа Святого оскорбишь, и только одних церковных приказных обрадуешь, чтобы им в своих отчетах больше лгать да хвастать.

Я его перестал слушать, однако не оставлял мысли со временем его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? Ведь не один простосердечный ветхозаветный Аммос, собирая ягоды, вдруг стал пророчествовать, – и мой Кириак мне напроорочил, и его слова «да запретит тебе Христос» начали действовать. В это самое время я, как нарочно, получил из Петербурга извещение, что, по тамошнему благоусмотрению, у нас в Сибири увеличивается число буддийских капищ и удваиваются штаты лам. Я хоть и в русской земле рожден и приучен был не дивиться никаким неожиданностям, но, признаюсь, этот порядок *contra jus et ras* 1 Против закона и справедливости (лат.). изумил меня, а что гораздо хуже, – он совсем с толку сбивал бедных новокрещенцев и, может быть, еще больше жалости достойных миссионеров. Весть с этим радостным событием, во вред христианству и в пользу буддизма, как вихрем разнеслась по всему краю. Для ее распространения скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповестилась, что «все преодолевший и все отвергший» бог Фо в Петербурге «одолеет и отвергнет Христосика». Торжествующие ламы уверяли, что уже все наше верховное правительство и сам наш далай-лама, то есть митрополит, приняли буддийскую веру. Перепугались миссионеры, известясь о сем; не знали, что им делать; иные из них, кажется, отчасти сомневались: уж и впрямь не повернуло ли в Петербурге дело на ламайскую сторону, как оно в то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а ныне, в сию многодумную

и дурашливую пору, поворачивает на спиритскую. Только нынче оно, разумеется, совершается спокойнее, потому что теперь кумир хотя и ледащенький выбран, но зато теперь и против этого рожна прать никому неохота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки не доставало во многих и, в числе прочих, во мне грешном. Я не мог равнодушно смотреть на моих бедных крестителей, которые пешком плелись из степей ко мне под защиту. Им одним по всему краю не было ни лошадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, Бог их знает как, лезли пешие по сугробам и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не как иереи Бога Вышнего, а как настоящие калики перехожие. Чиновники и зауряд все управление без зазрения совести покровительствовали ламам. Мне приходилось сражаться с губернатором, чтобы сей христианский боярин хотя малость остепенял своих пособников, дабы они по крайней мере не совсем открыто радели буддизму. Губернатор, как водится, обижался, и у нас с ним закипела жестокая стычка; я ему на его чиновников жалуюсь, – он мне на моих миссионеров пишет, что «никто-де им не мешает, а они-де сами ленивые и неискусные». А мои дезертировавшие миссионеры, в свою очередь, пишат, что им хотя, точно, рты тряпками не затыкают, но нигде ни лошадей, ни оленей не дают, потому что по степям всюду все люди лам боятся.

– Ламы, – говорят, – богаты, они чиновников деньгами дарят, а нам дарить нечем.

Что же мне было можно им в утешение сказать? Синоду, что ли, обещать представить, чтобы лавры и монастыри, имея «деньги многи», поделились с нашею бедностью и какую-нибудь сумму на взятки приказным отпустили, но боялся, что в больших залах в синоде это, чего доброго, за неуместное сочтут и, помолясь Богу, во вспомоществовании на взятки мне откажут, пожалуй. А к тому же еще и это средство в наших руках могло быть ненадежно: апостолы мои в самих себе такую слабость мне открыли, которая, в связи с обстоятельствами, получила очень важное значение.

– Нас, – говорят, – за дикарей жалость берет; из них с этой возней совсем последний толк выбьют; нынче мы их крестим, завтра ламы обращают и велят Христа порицать, а за штраф все что попало у них берут. Обнищает бедный народ и в скоте, и в своем скудном разуме, – все веры перепутал и на все колена хромает, а на нас плачется.

Кириак эту борьбу очень интересовался и, пользуясь моим расположением, не раз останавливал меня вопросами:

– Что тебе, владыко, вражки пишат?

Или:

– Что ты, владыко, вражкам написал?

Раз даже он явился ко мне с просьбою:

– Посоветуйся со мною, владыко, как будешь вражкам писать?

Это было по случаю тому, что губернатор мне ставил на вид, что в соседней епархии, при тех же обстоятельствах, в каких я находился, проповедь и крещение совершаются успешно, причем указывал мне на какого-то миссионера Петра из зырян, который целыми массами крестит инородцев.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросил соседнего архиерея: так ли это?

Тот отвечал, что действительно у него есть зырянин, поп Петр, который два раза ездил на проповедь и в первый раз «все кресты раскрестил», а во второй вдвое больше крестов взял, и опять не достало, – с одного на другого на шею перевешивал.

Кириак как это услышал, так и всплакался.

– Боже мой, – говорит, – откуда еще ко всем бедам пришел сюда сей коварный строитель? Он Христа в Его же церкви да Его же кровью затопит! Ох, беда! Помилосердуй, владыко, проси скорее архиерея, чтобы он унял своего слугу верного – оставил бы в церкви сил хоть на семена.

– Ты, – говорю, – отец Кириак, вздор говоришь; могу ли я от столь хвальной ревности человека удерживать?

– Ах, нет, – молит, – владыко, проси; ведь это тебе непонятно, а я так знаю, что, значит, теперь там в степях делается. Это все не Христу, а вражкам Его служба там идет. Зальют, зальют они Его, Голубчика, кровью и на сто лишних лет от Него народ отпугают.

Я, разумеется, Кириака не послушал, а напротив – написал к соседнему архиерею, чтобы он дал мне своего зырянина на подержание, или, как сибирские аристократы по-французски говорят: о прока. Сосед мой архиерей в это время уже, отбыв сибирскую епитимью, перемещался в Россию и не постоял за своего досужего крестителя. Зырянин был мне прислан: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна масляный. Я его сейчас же отправил в степь, а недели через две от него уже и радостные вести имел: доносил он мне, что крестит народ на все стороны. Одного он опасался: достанет ли у него крестов, которых забрал с собою весьма изрядную коробку? Из сего я, не ошибаясь, мог заключить, что улов в мережи сего счастливого ловца попадает чрезвычайно обильный.

Вот, думаю, когда я достал себе наконец к этому делу настоящего мастера! И очень был этому рад, да и как рад-то! откровенно скажу вам – с самой казенной точки зрения, – потому что... и архиерей ведь тоже, господа, человек, и ему надокучит, когда одна власть пристаёт: «крести», а другая – «пусти»... Ну их совсем! скорей как-нибудь кончить в одну сторону, и как попался ловкий креститель, так пусть уже зауряд все крестит, авось и людям спокойнее станет.

Но Кириак не разделял моего взгляда, и раз иду я вечером через двор из бани и встречаю его; он остановился и приветствует меня:

– Здравствуй, владыко!

– Здравствуй, – говорю, – отец Кириак.

– Хорошо ли вымылся?

– Хорошо.

– А зырянина-то отмыл ли?

Я рассердился.

– Это, – говорю, – что за глупость?

А он опять про зырянина.

– Он безжалостный, – говорит, – он и у нас теперь так крестит, как за Байкалом крестил; его крестников через это только мучают, а они на Христа, Батюшку, плачутся. Грех всем вам, а тебе больше всех грех, владыко!

Я Кириака счел за грубияна, но слова-то его мне все-таки в душу запали. Что, в самом деле? Он ведь старик основательный, на ветер болтать не станет: в чем же тут секрет? Как, в самом деле, взятый мною «о прока» досужий зырянин крестит? Я имел понятие о религиозности зырян; они по преимуществу храмоздатели, – церкви у них повсюду отличные и даже богатые, но из всех глаголемых христиан на свете они, должно сознаться, самые внешние. Ни к кому столько, как к ним, не идет определение, что у них «Бог в одних лишь образах, а не в убеждениях человека»; но ведь не жжет же этот зырянин дикарей огнем, чтобы они крестились? Быть этого не может! В чем же тут дело? Отчего зырянин успевает, а русские не умеют, и отчего я этого о сю пору не знаю?

«А все оттого, владыко, – пришло мне на мысль, – что ты и тебе подобные себялюбивы да важны: „деньги многи“ собираете да только под колокольным звоном разъезжаете, а про дальние места своей паствы мало думаете и о них по слухам судите. На бессилие свое на родной земле нарекаете, а сами всё звезды хватать норовите, да вопрошаете: „Что митрополит хотите дати, да аз вам предам?“ Берегись-ка, брат, как бы и ты не таков же стал?»

И ходил я, ходил этот вечер со своею думою по моей пустой скудной зале и до тех пор доходился, пока вдруг мне пришла в голову мысль: пробежать самому пустыню.

Таким образом я надеялся уяснить себе если не все, то по крайней мере очень многое. Да, признаюсь вам, и освежиться хотелось.

Для совершения этого пути мне, при моей неопытности, нужен был товарищ, который хорошо бы знал инородческий язык; но какого же товарища лучше желать, как Кириака? И, не откладывая этого по своей нетерпеливости в долгий ящик, я призвал Кириака к себе, открыл ему свой план и велел собираться.

Он не противоречил, а, напротив, казалось, был даже очень рад и, улыбаясь, повторял:
– Бог в помощь! Бог в помощь!

Откладывать было незачем, и мы на другое же утро раным-рано отпели обеденку, оделись оба по-туземному и выехали, держа путь к самому северу, где мой зырянин апостольствовал.

Глава шестая

Лихо прокатили мы первый день на доброй тройке и все беседовали с отцом Кириаком. Любезный старик рассказывал мне интересные истории из инородческих религиозных преданий, из коих меня особенно занимала повесть о пятистах путешественниках, которые под руководством одного книжника, по-ихнему – «обушия», да «победивший силу бесовскую и отринувший все слабости» бог Шигемуни гостеприимствовал «непочатыми яствами» в Ширвасе. Повесть эта тем интереснее, что в ней чувствуется весь склад и дух религиозной фантазии этого народа. Пятьсот путников, предводимые обушием, встречают духа, который, чтобы устроить их, принимает самый ужасный и отвратительный вид и спрашивает: «Есть ли у вас такие чудовища?» – «Есть гораздо страшнее», – отвечал обуший. «Кто же они?» – «Все те, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они по смерти становятся чудовищами гораздо тебя страшнее и гаже». Дух скрылся и, превратясь где-то в человека, такого сухого и тощего, что даже жилы его пристали к костям, опять появился пред путниками и говорит: «Есть ли у вас такие люди?» – «Как же, – отвечает обуший, – гораздо суше тебя есть – таковы все, любящие почести».

– Гм! – перебил я Кириака. – Это, – говорю, – смотри, уже не нас ли, архиереев, мораль пущена?

– А Бог вещь, владыко, – и продолжает: – По некотором времени дух явился в виде прекрасного юноши и говорит: «А вот такие у вас есть ли?» – «Как же, – отвечает обуший, – между людьми есть несравненно тебя прекраснее, это те, которые имеют острое понятие им, очистив свои чувства, благоговеют к трем изяществам: Богу, вере и святости. Сии столь тебя красивее, что ты пред ними никуда не годишься». Дух рассердился и стал экзаменовать обушия другими манерами. Он зачерпнул в горсть воды: «Где, говорит, больше воды: в море или в горсти?» – «В горсти более», – отвечает обуший. – «Докажи». – «Ну и докажу: по видимому судя, кажется в море действительно более воды, чем в горсти, но когда придет время разрушения мира и из нынешнего солнца выступит другое, огнепалящее, то оно иссушит на земле все воды – и большие, и малые: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумбер-гора (Атлас) рассыпется: а кто при жизни напоил своею горстью уста жаждущего или обмыл своею рукою раны нищего, того горсть воды семь солнц не иссушат, а, напротив, того будут только ее расширять и тем самым увеличивать...» – Право, как вы хотите, а ведь это не совсем глупо, господа? – спросил, приостановясь на минуту, рассказчик. – А? Нет, взаправду, как вы это находите?

– Очень не глупо, совсем не глупо, владыко.

– Признаюсь вам, и мне это показалось, пожалуй, толковее иной протяженной проповеди об оправдании... Ну, впрочем, не все об этом. Потом повели мы долгие беседы о том, какой способ надо предпочесть всем другим для обращения дикарей в христианство. Кириак находил, что с ними надо как можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кириака с его вопросами превзойдут о том: можно ли того причащать, кто яйцом в зубы постучит; да не надо много и догматизировать, потому что их слабый ум устаёт следить за всякою отвлеченностью и силлогизациею, а надо им просто рассказывать о жизни и о чудесах Христа, чтобы

это представлялось им как можно живообразнее и чтобы их бедной фантазии было за что цепляться. Но главное: все на то напирал, что, «кто премудр и художник, тот пусть покажет им от своего жития доброго, – тогда они и Христа поймут, а иначе, говорит, плохо наше дело и истинная наша вера, хоть мы ее промеж них и наречем, то будет она у них под началом у неистинной: наша будет нареченная, а та действующая, – что в том добра-то, владыко? Посуди: к торжеству Христовой веры это будет или к ее унижению? А еще того горше, как от нашего что возьмут, да не зная что из него сделают. Нечего спешить нарекать, а надо насаждать; другие придут – будут поливать, а возрастит Сам Бог... Не так ли, владыко, апостол-то учил, а? Вспомни его, должно быть, так; а то, гляди, как бы не поспешить, да людей не насмешить и сатану не порадовать».

Я, по правде сказать, внутренне во многом с ним соглашался и не заметил, как в простых и мирных с ним разговорах провел весь день до вечера; а с тем и наш конный путь кончился.

Переночевали мы с ним у огонька в юрте и на другое утро покатали на оленях.

Погода стояла чудесная, и езда на оленях очень меня занимала, хотя она, однако, не совсем отвечала моим о ней представлениям. В детстве моем я очень любил смотреть на картинку, где был представлен лапландец на оленях. Но те олени, на картинке, были легкие, быстроногие, как вихри степные неслись, закинув назад головы с ветвистыми рогами, и я, бывало, все думал: «Эх, кабы хоть раз так прокатиться! Какая это, должно быть, приятная быстрота при такой скачке!» А на деле же оно выходило не так: передо мною были совсем не те уносистые рогатые вихри, а комолые, тяжеловатые увальни с понурыми головами и мясистыми лапами. Бежали они побегом нетвердою и неровною, склонив головы, и с такою задышкою, что инда с непривычки жалость брала на них смотреть, особенно как у них ноздри замерзли и они рты поразинули. Так тяжело дышат, что это густое дыхание их собирается облаком и так и стоит в морозном воздухе полоскою. И эта езда и грустное однообразие пустынных картин, которые при ней открываются, производят такое скучное впечатление, что даже говорить не хочется, и мы с Кириаком, едучи два дня на оленях, почти ни о чем и не беседовали.

На третий день к вечеру и этот путь прекратился: снега стали рыхлее, и мы заменили нескладных оленей собаками – такие серенькие, мохнатые и востроухие, как волчки, и по-волчьи почти и тявкают. Запрягают их помногу, штук по пятнадцати, а почетному путнику, пожалуй, и больше заценят, но салазки такие узенькие, что двоим рядом сидеть невозможно, и мы с отцом Кириаком должны были разделиться: на одних приходилось ехать мне с проводником, а на других – Кириаку с другим проводником. Проводники оба казались равного достоинства, да и с обличья их одного от другого даже и не отличишь, особенно как своими малицами закутаются, – точно банные обмылки: что один, что другой – в обоих одна красота. Но Кириак нашел в них разницу и непременно настаивал, чтобы усадить меня с тем, который казался ему надежнее; а в чем он видел эту надежность – не объяснил.

– Так, – говорит, – владыко: ты в этом крае неопытнее меня, так ты с этим поезжай. – За это я его не послушал и сел с другим. Поклажу свою мы разделили: я взял себе в ноги узелок с бельем да с книгами, а Кириак надел на себя мирницу и дароносицу да взял в ноги кошель с толоком, сухой рыбкой и прочей нашей незатейливой походной провизией.

Уселись мы так, подоткнулись малицами, сверху по коленам оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Езда эта была гораздо быстрее, чем на оленях, но зато сидеть так худо, что у меня с непривычки через час же страшно спину разломило. Погляжу на Кириака – он сидит как воткнутый столбушек, а я так и вихляюсь по сторонам – все баланс хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не мог и поговорить с моим проводником. Узнал только, что он крещеный и окрещен недавно моим зырянником, а поэкзаменовать его не успел. К вечеру я так измучился, что совсем держаться не мог и пожаловался Кириаку.

– Плохо, – говорю, – меня что-то сразу уже очень расшатало.

– А все это оттого, – отвечает, что ты меня не слушал, – не с тем едешь, с которым я тебя сажал: этот лучше правит, покойнее. Яви ласку: пересядь завтра.

– Хорошо, – говорю, – изволь, пересяду. – И точно, пересел, и опять едем.

Не знаю: понавык ли я за прошлый день держаться на этих рожнах или действительно этот проводник лучше своим орстелем правил, только мне спокойнее ехалось, так что я даже мог и побеседовать.

Спрашиваю его: крещеный он или нет?

– Нет, – отвечает, – бачка, моя некрещена, моя счастливая.

– Чем же ты так счастлив?

– Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзол-Дзаягачи дала, бачка. Она мен, бачка, бережет.

Дзол-Бзаягачи у шаманистов такая богиня, дарующая детей и пекущаяся будто бы о счастии и здорвьье тех, которые у нее вымолены.

– Так что же, – говорю, – а почему же не креститься-то?

– А она, бачка, меня не дает крестить.

– Кто это? Дзол-Дзаягачи?

– Да, бачка, не дает.

– Ага, ну, хорошо, что ты мне это сказал.

– Как же, бачка, хорошо?

– Да вот я тебя за это, назло твоей Дзол-Бзаягачи, и велю окрестить.

– Что ты, бачка? Зачем Дзол-Дзаягачи сердить? Она рассердится – дуть станет.

– Очень она мне нужна, твоя Дзол-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

– Нет, бачка, она не даст обижать.

– Да какая тебе, глупому, в этом обида?

– Как же, бачка, меня крестить? – мне много обида, бачка: зайсан придет – меня крещеного бить будет, шаман придет – опять бить будет, лама придет – тоже бить будет и олешков сгонит. Большая, бачка, обида будет.

– Не смеют они этого делать.

– Как, бачка, не смеют? Смеют, бачка, все возьмут; у меня дядю, бачка, уже разорили...

Как же, бачка, разорили, и брата, бачка, разорили.

– Разве у тебя есть брат крещеный?

– Как же, бачка, есть брат, бачка, есть.

– И он крещеный?

– Как же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

– Что такое? два раза крещеный? Разве по два раза крестят?

– Как же, бачка, крестят.

– Врешь!

– Нет, бачка, верно: он один раз за себя крестился, а один раз, бачка, за меня.

– Как за тебя? Что ты это за вздор мне рассказываешь?

– Какой, бачка, вздор! – не вздор: я, бачка, от попа спрятался, а брат за меня крестился.

– Для чего же вы так смошенничали?

– Потому, бачка, что он добрый.

– Кто это: брат-то твой, что ли?

– Да, бачка, брат. Он сказал: «Я все равно уже пропал – окрещен, а ты спрячься, – я еще окрещусь»; я и спрятался.

– И где же он теперь, твой брат?

– Опять, бачка, креститься побежал.

– Куда же это его, бездельника, понесло?

– А туда, бачка, где ныне, слышать, твердый поп ездит.

– Ишь ты! Что же ему до этого попа за дело?

- А свои у нас там, бачка, свои люди живут, хорошие, бачка, люди: как же? Ему, бачка, жаль... он их жалеет, бачка, – за них креститься побежал.
- Да что же это за шайтан, этот твой брат? Как он это смеет делать?
- А что, бачка? Ничего: ему, бачка, уж все равно, а тех, бачка, зайсан бить не будет, и лама олешков не сгонит.
- Гм! Надо, однако, твоего досужего брата на приметку взять. Скажи-ка мне, как его зовут?
- Куська-Демьяк, бачка.
- Кузьма или Демьян?
- Нет, бачка, – Куська-Демьяк.
- Да; по-твоему чище, – Куська-Демьяк или меди пятак, – только это два имени.
- Нет, бачка, одно.
- Я тебе говорю – два!
- Нет, бачка, одно.
- Ну, тебе, видно, и это лучше знать.
- Как же, бачка, мне лучше.
- Но это его Кузьмой или Демьяном при первом или при втором крещении назвали? Вылупился и не понимает; но, когда я ему повторил, он подумал и ответил:
- Так, бачка: это как он за меня крестился, тогда его стали Куська-Демьяк дразнить.
- Ну, а после первого-то крещения вы как его дразнили?
- Не знаю, бачка, забыл.
- Но он-то, чай, это знает?
- Нет, бачка, и он позабыл.
- Быть, – говорю, – этого не может!
- Нет, бачка, – верно, позабыл.
- А вот я его велю разыскать и расспрошу.
- Разыщи, бачка, разыщи; и он скажет, что позабыл.
- Да только уже я его, брат, как разыщу, так сам зайсану отдам.
- Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, – он пропащий.
- Через что это он пропащий-то? через то, что окрестился, что ли?
- Да, бачка; его шаман гонит, у него лама олешки забрал, ему свой никто не верит.
- Отчего не верит?
- Нельзя, бачка, крещеному верить, – никто не верит.
- Что ты, дикий глупец, врешь! Отчего нельзя крещеному верить? Разве крещеный вас, идолопоклонников, хуже?
- Отчего, бачка, хуже? – один человек.
- Вот видишь, и сам согласен, что не хуже?
- Не знаю, бачка, ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а верить нельзя.
- Почему же ему нельзя верить?
- Потому, бачка, что ему поп грех прощает.
- Ну так что же тут худого? Неужто же лучше без прощения оставаться?
- Как можно, бачка, без прощения оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прощение просить.
- Ну так я же тебя не понимаю; о чем ты толкуешь?
- Так, бачка, говорю: крещеный сворует, попу скажет, а поп его, бачка, простит; он и неверный, бачка, через это у людей станет.
- Ишь ты какой вздор несешь! А по-твоему это небось не годится?
- Этак, бачка, не годится у нас, не годится.
- А по-вашему как бы надо?

– Так, бачка: у кого украл, тому назад принеси и простить проси; человек простит, и Бог простит.

– Да ведь и поп человек: отчего же он не может простить?

– Отчего же, бачка, не может простить? И поп может. Кто у попа украл, того, бачка, и поп может простить.

– А если у другого украл, так он не может простить?

– Как же, бачка? Нельзя, бачка: неправда, бачка, будет; неверный человек, бачка, везде пойдет.

«Ах ты, – думаю, – чучело этакое неумытое, какие себе построения настроил!» – и спрашиваю далее:

– А ты про Господа Иисуса Христа-то что-нибудь слышал?

– Как же, бачка, слышал.

– Что же ты про Него слышал?

– По воде, бачка, ходил.

– Гм! Ну, хорошо – ходил; а еще что?

– Свинью, бачка, в море топил.

– А более сего?

– Ничего, бачка, хорош, жалостив, бачка, был.

– Ну, как же жалостив? Что он делал?

– Слепому на глаза, бачка, плевал, – слепой видел; хлебца и рыбка народца кормил.

– Однако ты, брат, много знаешь.

– Как же, бачка, много знаю.

– Кто же тебе все это рассказал?

– А люди, бачка, говорят.

– Ваши люди?

– Люди-то? Как же, бачка, наши, наши.

– А они от кого слышали?

– Не знаю, бачка.

– Ну а не знаешь ли ты, зачем Христос сюда на землю приходил?

Думал он, думал – и ничего не ответил.

– Не знаешь? – говорю.

– Не знаю.

Я ему все православие и объяснил, а он не то слушает, не то нет, а сам все на собак погикивает да орстелем машет.

– Ну, понял ли, – спрашиваю, – что я тебе говорил?

– Как же, бачка, понял: свинью в море топил, слепому на глаза плевал, – слепой видел, хлебца-рыбка народца дал.

Засели ему в лоб эти свиньи в море, слепой да рыбка, а дальше никак и не поднимется... И припомнились мне Кириаковы слова о их жалком уме и о том, что они сами не замечают, как края ризы касаются. Что же? И этот, пожалуй, крайка коснулся, но уж именно только коснулся – чуть-чуть дотронулся; но как бы ему более дать за нее ухватиться? И вот я и попробовал с ним как можно проще побеседовать о благе Христова примера и о цели Его страдания, но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелем помахивает. Трудно мне было себя обольщать: вижу, что он ничего не понимает.

– Ничего, – спрашиваю, – не понял?

– Ничего, бачка, все правду врешь; жаль его: он хорош, Христосик.

– Хорош?

– Хорош, бачка, не надо Его обижать.

– Вот ты бы Его и любил.

- Как, бачка, Его не любить?
- Что? Ты можешь Его любить?
- Как же, бачка, я, бачка, Его и всегда люблю.
- Ну вот и молодец.
- Спасибо, бачка.
- Теперь, значит, тебе остается креститься: Он и тебя спасет.

Дикарь молчит.

- Что же, – говорю, – приятель, что ты замолчал?
- Нет, бачка.
- Что такое: «нет, бачка»?
- Не спасет, бачка; за Него зайсан бьет, шаман бьет, лама олешков сгонит.
- Да; вот главная беда!
- Беда, бачка.
- А ты и беду потерпи за Христа.

– На что, бачка, – Он, бачка, жалостливый: как ядохнуть буду, Ему Самому меня жаль станет. На что Его обижать!

Хотел было сказать ему, что если он верит, что Христос его пожалеет, то пусть верит, что Он же его может и спасти, но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христос у этого человека был в числе его добрых, и даже самых добрых божеств, но только не из сильных: добр, да не силен – не заступает, ни от зайсана, ни от лампы не защищает. Что же тут делать? как дикаря переуверить в этом, когда Христову сторону поддержать не с кем, а для той много подпор? Католический проповедник в таком случае схитрил бы, как они в Китае хитрили: положил бы Будде к ногам крестик, да и кланялся и, ассимилировав и Христа, и Будду, кичился бы успехом; а другой новатор втолковал бы такого Христа, что в Него и верить нечего, а только... думай о Нем благосклонно и – хорош будешь. Но тут и это трудно: чем этот мой молодец станет раздумывать, когда у него вся думалка комом смерзлась и ему ее оттаять негде.

Припомнилось мне, что Карл Эккартсгаузен превосходно, в самых простых сравнениях умел представлять простым людям великость жертвы Христова пришествия на землю, сравнивая это, как бы кто из свободных людей, по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался, чтобы терпеть их злонравие. Очень просто и хорошо; но ведь у моего слушателя, благодаря обстоятельствам, нет больших злодеев, как те, от кого он бегаёт из страха, чтобы его не окрестили; нет у него такого места, которое могло бы произвести ужас в сравнении со страшным местом его всегдашнего обитания... Ничего с ним не поделаешь, – ни Массильоном, ни Бурдалу, ни Эккартсгаузеном. Вон он тебе тычет орстелем в снег да помахивает, рожа обмылком – ничего не выражает; в гляделках, которые стыд глазами звать, – ни в одном ни искры душевного света; самые звуки слов, выходящих из его гортани, какие-то мертвые: в горе ли, в радости ли – все одно произношение, вялое и бесстрастное, – половину слова где-то в глотке выговорит, половину в зубах сожмет. Где ему с этими средствами искать отвлеченных истин, и что ему в них? они ему бремя: ему надо вымирать со всем родом своим, как вымерли ацтеки, вымирают индейцы... Ужасный закон! Какое счастье, что он его не знает и знай тычет себе орстелем – тычет направо, тычет налево; не знает, куда меня мчит, зачем мчит и зачем, как дитя простой душою, открывает мне, во вред себе, свои заветные тайны... Мал весь талант его, и... благо ему: мало с него спросится... А он все несется, несется в безбрежную даль и машет своим орстелем, который, мигая перед моими глазами, начал действовать на меня как маятник. Меня замаячило; эти мерные взмахи, как магнетизерские пассы, меня пугали сонною сетью; по темя теснилась дрема, и я тихо и сладко уснул – уснул для того, чтобы проснуться в положении, от которого да сохранит Господь всякую душу живую!

Глава седьмая

Я спал очень крепко и, вероятно, довольно долго, но вдруг мне показалось, что меня как будто что-то толкнуло и я сижу, накренаюсь набок. Я в полусне еще хотел поправиться, но вижу, что меня опять кто-то пошатнул назад; а вокруг все воет... Что такое? – хочу посмотреть, но нечем смотреть – глаза не открываются. Зову своего дикаря:

– Эй ты, приятель! Где ты?

А он на самое ухо кричит мне:

– Прочкнись, бачка, прочкнись скорей! Застынешь!

– Да что это, – я говорю, – не могу глаз открыть?

– Сейчас, бачка, откроешь.

И с этими словами – что бы вы думали? – взял да мне в глаза и плюнул и ну своим оленьим рукавом тереть.

– Что ты делаешь?

– Глаза тебе, бачка, протираю.

– Пошел ты, дурак...

– Нет, погоди, бачка, не я дурак, а ты сейчас глядеть станешь.

И точно, как он провел мне своим оленьим рукавом по лицу, мои смерзшиеся веки оттаяли и открылись. Но для чего? Что было видеть? Я не знаю, может ли быть страшнее в аду: вокруг мгла была непроницаемая, непроглядная темь, и вся она была как живая: она тряслась и дрожала, как чудовище, – сплошная масса льдистой пыли была его тело, останавливающий жизнь холод – его дыхание. Да, это была смерть в одном из самых грозных своих явлений, и, встретясь с ней лицом к лицу, я ужаснулся.

Все, что я мог проговорить, это был вопрос о Кириаке – где он? Но говорить было так трудно, что дикарь ничего не слышал. Тут он заметил, что он, говоря мне, нагнулся и кричал мне под трех в самое ухо, и сам я под трех ему закричал:

– А где наши другие сани?

– Не знаю, бачка, нас разбило.

– Как разбило?

– Разбило, бачка.

Я хотел этому не верить; хотел оглянуться, но никуда, ни в одну сторону не видать ничего: кругом ад темный и кромешный. Под самым моим боком у саней что-то копошилось, как клуб, но не было никаких средств видеть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тот отвечает:

– А это, бачка, собачки спутались – греются.

И вслед за тем он сделал в этой тьме какое-то движение и говорит:

– Падай, бачка!

– Куда падать?

– Вот сюда, бачка, в снег падай.

– Погоди, – говорю.

Мне еще не верилось, что потерял своего Кириака и я привстал из саней и хотел позвать его, но меня в то же мгновение и сразу же задушило, точно как заткнуло всего эту ледяную пылью, и я повалился в снег, причем довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никаких сил, да и мой дикарь мне не дал бы этого сделать. Он придержал меня и говорит:

– Лежи, бачка, смиренно лежи, не околеешь: снег заметет, тепло будет; а то околеешь. Лежи!

Ничего не оставалось, как его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а он сволок с салазок оленью шкуру, бросил ее на меня и сам под нее же подобрался.

– Вот теперь, – говорит, бачка, хорошо будет.

Но это «хорошо» было так скверно, что я в ту же минуту должен был как можно решительнее отворотиться от моего соседа в другую сторону, ибо присутствие его на близком расстоянии было невыносимо. Четверодневный Лазарь в Вифанкой пещере не мог отвратительнее смердеть, чем этот живой человек; это было что-то хуже трупа – это была смесь вонючей оленьей шкуры, острого человеческого пота, копоты и сырой гнили, юколы, рыбьего жира и грязи... О Боже, о бедный я человек! Как мне был противен этот, по образу Твоему созданный, брат мой! О, как бы охотно я выскочил из этой вонючей могилы, в которую он меня рядом с собою укладывал, если бы только сила и мочь стоять в этом метущемся адском хаосе! Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать – и надо было покоряться.

Мой дикарь заметил, что я от него отвернулся, и говорит:

– погоди, бачка, ты не туда морду клал; ты вот сюда клади морду, вместе дуть будем – тепло станет.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но он вдруг как-то напряжился, как клоп, перекатился через меня и лег прямо нос к ногу, и ну дышать мне в лицо с ужасным сапом и зловонием. Сопел он тоже необычайно, точно кузнечный мех. Я никак не мог этого стерпеть и решил добиться, чтобы этого не было.

– дыши, – говорю, – как-нибудь потише.

– А что? Ничего, бачка, я не устану: я тебе, бачка, морду грею.

«Мордою» его я, разумеется, не обижался, потому что не до амбиции мне было в это время, да и, повторяю вам, у них для оттенка таких излишних тонкостей, чтобы отличать звериную морду от человеческого лица, и отдельных слов еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, – почему же у архиерея не быть морде? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вот что трудно было: сносить это его дыхание с этой смердючей юколой и каким-то другим отвратительным зловонием – вероятно, зловонием его собственного желудка, – против этого я никак не мог стоять.

– Довольно, – говорю, – перестань; ты меня согрел, теперь более не сопи.

– Нет, бачка, сопеть – теплей будет.

– Нет, пожалуйста, не надо: и так надоел, не надо!

– Ну не надо, бачка, не надо. Теперь спать будем.

– Спи.

– И ты, бачка, спи.

И в эту же секунду, как это выговорил, точно муштрованная лошадь, которая сразу в галоп принимает, так и он сразу же уснул и сразу же захрапел. Да ведь как же, злодей, захрапел! Я, признаюсь вам, с детства страшный враг сонного храпа, и где в комнате хоть один храпливый человек есть, я уже мученик и ни за что уснуть не могу; а так как у нас, в семинарии и академии, разумеется, было много храпунов, и я их поневоле много и прилежно слушивал, то, не в смех вам сказать, я вывел себе о храпе свои наблюдения: по храпу, уверяю вас, все равно как по голосу и по походке, можно судить о темпераменте и о характере человека. уверяю вас, это так: задорный человек – он и храпит задорно, точно он и во сне сердится; а товарищ у меня по академии весельчак и франт был – так тот и храпел как-то франтовски: этак весело как-то, с присвистом, точно в своем городе в собор идет новый сюртук обновлять. Его, бывало, даже из других камер слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешний мой дикий сосед такую положительную музыку завел, что я никогда ни такого обширного диапазона, ни такого темпа еще не наблюдал и не слыхивал: точно как будто сильный густой рой гудит и в звонкий сухой улей о стенки мягко бьется. Прекрасно эдак, солидно, ритмически и мерно: у-у-у-бум, бум, бум, у-у-у-бум, бум, бум... По моим наблюдениям, надлежало бы вывести, что это действует человек обстоятельный, надежный; но, лиха беда, мне не до наблюдений было: он

так одолел совсем, разбойник, этим гулом! Терпел, терпел я, наконец не выдержал – толкнул его в ребра.

– Не храпи, – говорю.

– А что, бачка? Зачем не храпеть?

– Да ты ужасно храпишь: спать мне не даешь.

– А ты сам захрапи.

– Да я не умею храпеть.

– А я, бачка, умею, – и опять сразу в галоп загудел.

Что ты с таким мастером станешь делать? Что уж тут с таким человеком спорить, который во всем превосходит: и о крещенье больше меня знает, по сколько раз крестят, и об именах сведущ, и храпеть умеет, а я не умею, – во всем передо мною преферанс получает; надо ему и честь, и место дать.

Попятился я от него, как мог, немножко в сторону, провел с трудом руку за подрясник и пожал репетир: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значит, еще был день; вьюга, конечно, пойдет на всю ночь, может быть, и больше... Сибирские вьюги ведь продолжительны. Можете себе представить, каково иметь все это в перспективе! А между тем положение мое все становилось ужаснее: сверху нас, верно, уже хорошо укрыло снегом, и в логове нашем стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительные, вонючие испарения становились все гуще, – от этого спертого смрада у меня занимало дыхание, и очень жаль, что это сделалось не сразу, потому что тогда я не испытал бы и сотой доли тех мучений, которые ощутил, приведя себя в память, что с моим отцом Кириаком пропала и моя бутылка с подправленной коньяком водой и вся наша провизия... Я ясно видел, что если я не задохнусь здесь, как в Черной пещере, то мне, наверно, грозит самая ужасная, самая мучительная из всех смертей – голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, как я теперь жалел, что не остался мерзнуть наверху и залез в этот снежный гроб, где мы двое лежали в такой тесноте и под таким прессом, что все мои усилия приподняться и встать были совершенно напрасны!

С величайшим трудом я доставал из-под своего плеча кусочки снегу и жадно глотал их один за другим, но – увы! – это меня нимало не облегчало; напротив, это возбуждало у меня тошноту и несносное жжение в горле и желудке, а особенно около сердца; затылок у меня трещал, в ушах стоял звон, и глаза гнело и выпирало на лоб. А между тем докучный рой гудел все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились об улей. Такое ужасное состояние продолжалось, пока часовой репетир сказал семь, – и затем я больше ничего не помню, потому что потерял сознание.

Это было величайшее счастье, какое могло посетить меня в моем настоящем бедственном положении. Не знаю, отдыхал ли я в это время сколько-нибудь физически, но я по крайней мере не мучился представлением о том, что меня ожидало впереди и что в действительности по ужасу своему должно было далеко превзойти все представления встревоженной фантазии.

Глава восьмая

Когда я пришел в чувство, пчелиный рой отлетел, и я увидел себя на дне глубокой снежной ямы; я лежал на самом ее дне с вытянутыми руками и ногами и не чувствовал ничего: ни холоду, ни жажды – решительно ничего! Только голова моя была до того мутна и бестолкова, что мне порядочного труда стоило привести себе на память, что со мною произошло, и в каком я теперь нахожусь положении. Но наконец все это выяснилось, и первая мысль, которая мне пришла в эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранее меня и улизнул один, а меня бросил.

Оно, по здравому суждению, ему так бы и стоило со мною сделать, особенно после того, как я ему вчера нагрозил и его крестить, и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но он, по своему язычеству, не так поступил. Чуть я, с трудом двинув моими набрякшими членами,

сел на дне моей разрытой могилы, как увидел я его шагах в тридцати от меня. Он стоял под большим заиндевелым деревом и довольно забавно кривлялся, а над ним, на длинном суку, висела собака, у которой из распоротого брюха ползли вниз теплые черева.

Я догадался, что это он жертву, или, по-ихнему, таилгу, принес, и, по правде сказать, не возроптал, что это жертвоприношение его здесь задержало, пока я проснулся, и помешало ему меня бросить. А я вполне был уверен, что этот язычник непременно должен был иметь такое нехристианское намерение, и завидовал отцу Кириаку, который терпит теперь свою беду по крайней мере хоть с человеком крещеным, который все же должен быть благонадежнее моего нехристя. И от тяжкого ли моего положения, что ли, во мне родилось даже такое подозрение, что не слукавил ли со мною отец Кириак и, предусматривая все больше меня ему известные случайности сибирских путешествий, под видом доброжелательства, подсудобил мне язычника, а себе отобрал христианина? Не похоже это, конечно, было на отца Кириака, и мне даже и сейчас, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что делать, когда она явилась?

Вылез я из снежной ямы и стал подбираться к моему дикарю; он услышал, как снег захрустел под моими ногами, и обернулся, но сейчас же опять стал продолжать по-прежнему свои тайнодействия.

– Ну, не довольно ли тебе кивать-то? – сказал я, постояв возле него с минуту.

– Довольно, бачка. – И сейчас же пошел к саням и начал цеплять в шорки остальных собачонок. Закладка была готова, и мы поехали.

– Кому ты это там таилгу дал? – спросил я его, махнув назад головою.

– А не знаю, бачка.

– Да собачку-то ты кому пожертвовал: богу или черту – шайтану?

– Шайтану, бачка, как же, шайтану.

– За что же ты его угостил?

– А за то, бачка, что он нас не заморозил: я ему, бачка, за это собачку дал, пусть его лопает.

– Гм! Да он-то пусть лопает, – не облопается, а собачонку жаль.

– Чего, бачка, жалеть: собачка плохая, скоро бы дохнуть стала; ничего, бачка, – пусть его берет – лопает.

– Да; так ты с расчетом: дохленькую ему дал...

– Как же, бачка.

– А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь едем?

– Не знаю, бачка, след ищем.

– А где мой поп – товарищ?

– Не знаю, бачка.

– Как же нам его найти.

– Не знаю, бачка.

– Может быть, он замерз?

– Зачем, бачка, замерз: снег есть – не замерзнет.

Я вспомнил опять, что с Кириаком есть еще и бутылка с согревающим питьем и провизия, и – успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поел бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не уверен был, есть ли она с нами.

Целый день мы кружили как-то зря; я это видел – если не по бесстрастному лицу моего возницы, то по беспокойным, неровным и тревожным движениям его собак, которые всё как-то прыгали, суетились и беспрестанно металась из стороны в сторону. Моему дикарю с ними было много хлопот, но его неизменное бесстрастное равнодушие не покидало его ни на минуту; он только работал своим орстелем как будто с несколько большим вниманием, без которого

нам, конечно, в этот день сто раз быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо где-нибудь под лесами, мимо которых мы проезжали.

Но вот вдруг одна собачка ткнулась мордой в снег, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумеется, лучше меня знал, что это значит и какую угрожает нам новой бедою, но не выразил ни страха, ни смущения; так же, как и всегда, от твердою, но бесстрастною рукою застремил в снег свой орстель и дал мне держать этот якорь нашего спасения, а сам поспешно сошел с саней, вынул изнемогшего пса из хомутика и потащил его взад, за сани. Я думал, что он хочет пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидел, что и эта собака уже висит на дереве, и из нее опять ползут вниз кровавые черева. Отвратительное зрелище!

– Это что опять? – крикнул я ему.

– А шайтану ее, бачка.

– Ну, брат, довольно будет с твоего шайтана; много ему по две собачки на день есть.

– Ничего, бачка, пусть лопают.

– Нет, не «ничего», – говорю, – а если ты их так будешь колотить, то ты их всех шайтану переколешь.

– Я, бачка, ему тех даю, которые дохнут.

– А ты бы их лучше покормил.

– Нечем, бачка.

– Вот оно что! – Это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткий день уже опять клонился к вечеру, и остальные собачонки, видимо, совсем устали, из сил выбились и начали как-то дико похаркивать и садиться. И вдруг еще одна пала, а прочие все, как по уговору, все сразу сели на хвосты и завыли, точно тризну по ней правили.

Дикарь мой встал и хотел вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей раз уже решительно не позволил. Так надоело мне на это смотреть, да и казалось, что эта мерзость как будто увеличивала ужас нашего положения.

– Оставь, – говорю, – и не смей трогать: пусть издыхает, как ей пришлось.

Он и спорить не стал, но зато с обычным ему самым невозмутимым спокойствием выкинул самую неожиданную штуку. Он молча застремил свой орстель впереди саней и всех собачонок, одну за другою, отцепил и пустил их на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затавкали и понеслись всей стаей в одну сторону и в минуту же скрылись в лесу за дальним перелогом. Все это случилось так скоро, как в сказке об Илье Муромце говорится: «Как сажился Илья на коня, все видели, а как уехал, того никто не видал». Наша двигательная сила нас оставила: мы опешили; от десятка наших еще так недавно бодрых собачонок при нас оставалась только одна, издохшая, которая валялась у наших ног в своем хомутишке.

Дикарь мой стоял на этом позорище, облокотясь на свой орстель, и с тем же бесстрастием смотрел себе на ноги.

– Зачем ты это сделал? – воскликнул я.

– Пустил, бачка.

– Вижу, что пустил; а придут ли они назад?

– Нет, бачка, не придут, они одичают.

– Для чего же, для чего ты их спустил?

– Лопать, бачка, хотят, – пусть зверька изловят, лопать будут.

– А мы с тобою что будем лопать?

– Ничего, бачка.

– Ах ты, изверг!

Он, верно, не понял и ничего мне не отвечал, но воткнул в снег свой орстель и пошел. Никто бы не отгадал, куда и зачем он от меня удалился. Я его окликал, звал его вернуться назад, но он, только взглянув на меня своим тупым взглядом, прорычал: «Молчи, бачка», – и побрел дальше. Скоро и он исчез за опушкой, и я остался один-одинешенек.

Надо ли вам распространяться о том, как ужасно было мое положение, или. Может быть, вы лучше поймете весь этот ужас из того, что я не думал ни о чем, кроме того, что я голоден, что мне хочется не есть, в человеческом смысле желая пищи, а жрать, как голодному волку. Я вынул мои часы, подавил репетир и был поражен новым сюрпризом: мои часы стояли – чего с ними никогда не случалось на заводе. Дрожащими руками я вложил в них ключ и удостоверился, что они стали потому, что весь завод сошел; а они ходили около двух суток на одном заводе. Это мне открывало, что мы, ночуя под снегом, пролежали в своей ледяной могиле более чем сутки!.. Сколько же? Может быть, двое, может быть, трое? Я более не удивлялся, что я так мучительно страдаю от голода... Я, значит, не ел по крайней мере трети сутки и, сообразив это, почувствовал свой терзающий голод еще ожесточеннее.

Есть, что-нибудь есть! Нечистое, гадкое, лишь бы есть! – вот все, что я понимал, отчаянно водя вокруг себя полными нестерпимой муки глазами.

Глава девятая

Мы стояли на плоском возвышении; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди бесконечное ее продолжение; вправо обозначалась занесенная снегом низменность и перевал, за которым далеко синела на горизонте гряда леса, куда скрылись наши собаки. Влево шла другая лесная опушка, вдоль которой мы ехали, пока вся наша сбруя не расстроилась. Сами мы стояли как раз под большим сугробом, который, видно, намело на пригорок, покрытый высокими, под самое небо уходящими пихтами и елинами. Томимый голодом, я стыл, сидя на краю саней, и, не обращая внимания ни на что окружающее, не заметил, когда здесь очутился возле меня мой дикарь. Я не видал ни того, как он подошел, ни того, как он молча сел рядом со мною; теперь же, когда я обратил на него внимание, он сидел, поставив орстель в колена, а руки завел за теплую малицу. Ни одна черта его лица не изменилась, ни один мускул не двигался, и глаза не выражали ничего, кроме тупой и спокойной покорности.

Я взглянул на него и ни о чем не спросил, а он, как до сих пор никогда первый не заговаривал, и теперь не заговорил. Так мы и осмеркли, так и просидели рядом бесконечную темную ночь, не сказав друг другу ни одного слова.

Но чуть на небе начало сереть, дикарь тихо поднялся с саней, заложил руки поглубже за пазуху и опять побрел вдоль по опушке. Долго он не бывал назад, я долго видел, как он бродил и все останавливался: станет, и что-то долго-долго на деревьях разглядывает, и опять дальше потянет. И так он, наконец, скрылся с моих глаз, а потом опять так же тихо и бесстрастно возвращается и прямо с прихода лезет под сани и начинает там что-то настраивать или расстроивать.

– Что ты, – спрашиваю, – там делаешь? – И при этом неприятно открываю, как у меня спал и даже совсем переменялся мой голос, между тем мой дикарь как прежде говорил, так и теперь так же, перекусывая звуки, отрывает.

– Лыжи, бачка, достаю.

– Лыжи! – воскликнул я в ужасе, тут только во всем значении поняв, что такое значить «навострить лыжи». – Зачем ты лыжи достаешь?

– Сейчас убегу.

«Ах ты, разбойник, – думаю. – Куда же ты это побежишь?»

– На правую руку, бачка, убегу.

– Зачем же ты туда побежишь?

– Лопать тебе принесу.

– Врешь, – говорю, – ты меня здесь кинуть хочешь.

Но он нимало не смутился и отвечает:

– Нет, я тебе лопать принесу.

- Где же ты мне лопать возьмешь?
- Не знаю, бачка.
- Как же не знаешь: куда же ты бежишь?
- На правую руку.
- Кто же там, на правой руке?
- Не знаю, бачка.
- А не знаешь, так чего же ты бежишь?
- Примету нашел – чум есть.
- Врешь, – говорю, – любезный, ты меня одного здесь бросить хочешь.
- Нет; я лопать принесу.
- Ну, ступай, только уж лучше не ври, а иди себе куда знаешь.
- Зачем, бачка, врать, нехорошо врать.
- Очень, брат, нехорошо, а ты врешь.
- Нет, бачка, не вру! Поди со мной; я тебе приметку покажу.

И, зацепив лыжи и орстель, он поволок их за собою и меня взял за руку, привел к одному дереву и спрашивает:

- Видишь, бачка?
- Что же, – говорю, – дерево вижу, больше ничего.
- А вон, на большом суку, ветка на ветке, видишь?
- Ну что же такое? Вижу, есть ветка, – верно, ветер ее сюда забросил.
- Какой, бачка, ветер; это не ветер, а добрый человек ее посадил, – в ту руку чум есть.

Ну, очевидно дело, что или он меня обманывает, или сам обманывается; но что же мне делать? Силой мне его не удержать, да и зачем я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоем умирать с холоду и голоду? Пусть бежит и спасается, если может спастись. И говорю ему по-монашески: «Спасайся, брат!»

А он спокойно отвечает: «Спасибо, бачка», – и с этим утвердился на лыжах, заложил орстель на плечи, шаркнул раз ногой, шаркнул два – и побежал. Через минуту его уже и не видно стало, и я остался один-одинешенек среди снега, холода и совсем уже изнурившего меня мучительного голода.

Глава десятая

Небольшой зимний сибирский день я пробродил около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холод пересиливал несносные муки голода. Ходил я, разумеется, потихоньку, потому что сил у меня не было, да и от сильного движения скорее устанешь, и тогда еще скорее стынешь.

Бродя все вблизи того места, где меня кинул мой дикарь, я не раз подходил и к тому дереву, на котором он мне указывал приметную ветку: прилежно я ее рассматривал и все еще более убеждался, что это просто ветка, заброшенная сюда ветром с другого дерева.

– Обманул, – говорил я себе, – обманул он меня, да и не поставится ему это в грех: зачем ему было пропадать вместе со мною, без всякой для меня пользы?

И нужно ли вам рассказывать, как тяжело и мучительно долог мне казался этот куцый день? Я не верил ни в какую возможность спасения и ждал смерти; но где она? Зачем медлит и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь, прежде чем она меня обласкает и успокоит мучения?... Сколько я стал замечать, что у меня начинает минутами изнемогать зрение: вдруг все предметы как бы сольются и пропадут в какой-то серой мгле, но потом опять вдруг и неожиданно разъяснит... Кажется, это происходит просто от усталости, но не знаю, какую роль здесь играет перемена в освещении: чуть освещение переменится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потом опять затуманит. На часок выпрыг-

нувшее за далекими холмами солнышко стало обливаться покрывавший эти холмы снег удивительно чистым розовым светом, – это бывает там перед вечером, после чего солнце сейчас же быстро и скрывается, и розовый свет тогда сменяется самою дивною синевою. Так было и теперь: вокруг меня вблизи все засинело, как будто сапфирною пылью обсыпалось, – где рывинка, где ножной след или так просто палкою в снег ткнуто – везде как сизый дымок закружился, и через малое время этой игры все сразу смеркло: степь как опрокинутою чашей покрыло, и потом опять облегчает... сереет... С этой последнею переменою, как исчез и сей удивительный голубой свет и перебежала мгновенная тьма, на моих усталых глазах в серой мгле пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Все предметы начали принимать невероятные, огромные размеры и очертания: наши салазки торчали как корабельный остов; заиндевелая дохлая собака казалась спящим белым медведем, а деревья как бы ожили и стали переходить с места на место... И все это так живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положение, готов был бы во все это с любопытством всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло от моих наблюдений и, пробудя во мне новый страх, оживило с ним вместе и инстинкт самосохранения. Пред моими глазами, вдали, в полутьме, что-то мелькнуло, как темная стрела, потом другая, третья, и вслед за тем в воздухе раздался протяжный жалобный вой.

Я мигом сообразил, что это или волки, или наши отпущенные собаки, которые, вероятно, ничего съедомого не нашли и зверя не заправили, а, истомясь голодом, вспомнили о своей околевшей подруге и хотят воспользоваться ее трупом. Во всяком случае те ли это или другие, оголодавшие ли псы или волки, но они моему преосвященству спуска не дадут, и хотя мне, по разуму, собственно, было бы легче быть сразу растерзанным, чем долго топиться голодом, однако инстинкт самосохранения взял свое, и я с ловкостью и быстротою, каких, признаться сказать, никогда за собою не знал и от себя не чаял, взобрался в своем тяжелом убранстве на самый верх дерева, как векша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лезть. Передо мною открывалась целая необъятность и снега, и темнота, как густая накипь, неба, на котором из далекой непроглядной тьмы зарделись красноватые, безлучные звезды; а пока я окинул все это взглядом, внизу, почти у самого корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стон, опять потасовка, и опять стон, и вот опять во тьме мелькнули вроссыпь стрелы, и сразу все стихло, как будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышал и свой собственный пульс внутри себя и свое дыхание: оно как-то шумит, как сено, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкивает в невыносимо разреженном морозном воздухе, таком сухом и таком холодном, что даже мои волосы на бороде насквозь промерзли, кололись, как проволоки, и ломались: я даже сейчас чувствую озноб при этом воспоминании, которому всегда помогают мои с той поры испорченные ноги. Внизу, может быть, было немножко теплее, а может быть, и нет; но я во всяком случае не верил, что нашествие хищников там не повторится, и решил до утра не сходить с дерева. Это было не страшнее, чем закопаться под снегом с моим зловонным товарищем, да и вообще что уже могло быть страшнее всего моего теперешнего положения? Я только выбрал поразбористее разветвление и уселся на нем, как в довольно спокойной кресле, так что если бы даже мне и вздремнулось, то я ни за что не упал бы; а впрочем, для большей безопасности я крепко обхватил один сук руками и завел их обе поглубже за малицу. Позиция была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидел, как примерзлый старый сыч, на которого, вероятно, похож был и с виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Орион и Плеяды – эти небесные часы, по которым я теперь мог вести счет времени моих мучений. Я этим и занялся: сначала вычислил себе приблизительно данную минуту, а потом так просто, без всякой цели, долго-долго глядел на эти странные звезды на совершенно черном небе, пока они стали слабеть, и из золотых сделались медянными, и, наконец, совсем потемнели и сгасли.

Настало утро, такое же серое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по расположению Плеяд, показали девять. Голод все ожесточался и мучил меня неизмеримо: я уже не чувствовал ни томящего запаха яств и никакого воспоминания о вкусе пищи, а у меня просто была головная боль: мой пустой желудок сучило и скручивало, как веревку, и причиняло мне мучения невыносимые.

Без всякой надежды найти что-нибудь съестное я спустился с дерева и стал бродить. В одном месте я поднял на снегу еловую шишку. Сначала думал, не кедровая ли и нет ли в ней орешков, но оказалось просто-напросто обыкновенная еловая шишка. Я разломил ее, достал из нее зернышко и проглотил, но смолистый запах был так противен, что и пустой желудок не принял этого зерна, и оттого боли мои только усилились. В это время я заметил, что около наших брошенных саней в разных направлениях было множество недавних следов и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, был на очереди мой труп, на который сбегутся те же волки и так же скоро и хищно его между собою разделят. Тогда когда же это будет? Неужели еще сутки? А ну как еще более? Нет. Я припомнил себе одного фанатика-запоштиванца, который заморил себя голодом во славу Христову; он имел дух отмечать дни своего томления и насчитал их девять... Это ужасно! Но тот голодал в тепле, а я подвергаюсь всему при жестоком холоде, – это, конечно, должно делать большую разницу. Силы мои меня совсем оставили, я уже не мог согреть себя движением и сел на сани. Даже сознание моей участи меня как будто покинуло: я чувствовал на веках моих тень смерти и томился только тем, что она так медленно уводит меня в путь невозвратный. Вы поймете, что я так искренно желал уйти из этой мерзлой пустыни в сборный дом всех живущих и нимало не сожалел, что здесь, в этой студеной тьме, я постелю постель мою. Цепь мыслей моих порвалась, кувшин разбился, и колесо над колодезцем обрушилось: ни мыслей, ни даже обращения к небу в самых привычных формах – нечего, негде и нечем стало почерпнуть. Я это сознал и вздохнул.

Авва, Отче! Не могу даже изнести Тебе покаяния, но Ты Сам сдвинул светильник мой с места, Сам и поручись за меня перед Собою!

Это была вся моя молитва, которую я мог собрать в уме моем, и затем ничего не помню, как шел этот день. Всеконечно, с твердостью могу уповать, что он был такой же точно, как и тот, что минул. Казалось мне только, что я в этот день видел будто бы вдаль от себя два живые существа и это будто были две какие-то птицы; они мне казались ростом с сорок и статью похожие на сороку, но со скверным лохматым пером, вроде свиного. Перед самым закатом солнца они слетели откуда-то с дерева на снег, походили и улетели. Но, может быть, мне это только казалось в моих предсмертных галлюцинациях; однако казалось это так живо, что я следил за их полетом и видел, как они где-то вдаль скрылись, как будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого места, так на нем и стали, и остолбенели. Но что бы вам думало? – вдруг я начинаю замечать в этом направлении какую-то странную точку, которой, кажется, здесь прежде не было. Притом же казалось, что она как будто движется, хоть это было так незаметно, что движение ее скорей можно было отличать внутренним чутьем, а не глазами, но я был уверен, что она движется.

Надежда на спасение заговорила, и все муки мои не в силах были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснее и яснее определялась на этом удивительно нежно-розовом фоне. Мираж ли это, столь возможный в сем пустынном месте, при таком капризном освещении, или это действительно что-то живое спешит ко мне, но оно во всяком случае летит прямо на меня, и именно не идет, а летит: я вижу, как оно чертит, наконец различаю фигуру, вижу у нее ноги, – я вижу, как они штрихуют одна за другою и... вслед за тем снова быстро перехожу от радости к отчаянию. Да; это не мираж – я его слишком явно вижу, но зато это и не человек, как и не зверь. Вообще на земле нет во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное, фантастическое видение, какое на меня надвигалось, словно сгущаясь, складываясь, или, как господа спириты говорят ныне, «материализуясь» из игристых

тонов мерзлой атмосферы. Или меня обманывает мой глаз и мое воображение, или кто что ни говори, а это дух. Какой? Кто ты? Неужто это мой отец Кириак спешит мне навстречу из Царства мертвых... А может быть, мы оба уже там?... Неужто я уже и кончил переход? Как хорошо! Как любопытен этот дух, этот мой новый согражданин в новой жизни! опишу его вам как умею: ко мне плыла крылатая гигантская фигура, которая вся с головы до пят была облечена в хитон серебряной парчи и вся искрилась; на голове крупнейший, казалось, чуть ли не в сажень вышины, убор, который горел, как будто весь сплошь усыпан был бриллиантами или точно это цельная бриллиантовая митра... Все это точно у богато убранного индийского идола, и, в довершение сего сходства с идолом и с фантастическим его явлением, из-под ног моего дивного гостя брызжут искры серебристой пыли, по которой он точно несется на легком облаке, по меньшей мере как сказочный Гермес.

И вот, пока я его рассматривал, он, этот удивительный дух, все ближе, ближе, и вот наконец совсем близко, и еще момент, и он, обрызгав всего меня снежной пылью, воткнул передо мною свой волшебный жезл и воскликнул:

– Здравствуй, бачка!

Я не верил ни своим глазам, ни своему слуху: удивительный дух этот был, конечно, он – мой дикарь! Теперь в этом нельзя было более ошибаться: вот под ногами его те же самые лыжи, на которых он убежал, за плечами другие; передо мною воткнут в снег его орстель, а на руках у него целая медвежья ляжка, со всем – и с шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что он убрал, во что он преобразился?

Не дожидая с моей стороны никакого ответа на свое приветствие, он сунул мне к лицу эту медвежатину и, промычав: «Лопай, бачка!» – сам сел на сани и начал снимать со своих ног лыжи.

Глава одиннадцатая

Я припал к окороку, и грыз и сосал сырое мясо, стараясь утолить терзавший меня голод, и в то же время смотрел на моего избавителя.

Что это такое было у него на голове, которая оставалась все в том же дивном, блестящем, высоком уборе, – никак я этого не мог разобрать, и говорю:

– Послушай, что это у тебя на голове?

– А это, – отвечает, – то, что ты мне денег не дал.

Признаюсь, я не совсем понял, что он мне этим хотел сказать, но всматриваюсь в него внимательнее – и открываю, что этот его высокий бриллиантовый головной убор есть не что иное, как его же собственные длинные волосы: все их пропустило насквозь снежную пылью, и как они у него на бегу развевались, так их снопом и заморозило.

– А где же твой треух?

– Кинул.

– Для чего?

– А что ты мне денег не дал.

– Ну, – говорю, – я тебе, точно, забыл денег дать, – это я дурно сделал, но какой же жестокий человек этот хозяин, который тебе не поверил и в такую стыдь с тебя шапку снял.

– С меня шапки никто не снимал.

– А как же это было?

– Я ее сам кинул.

И рассказал мне, что он по приметке весь день бежал, юрту нашел – в юрте медведь лежит, а хозяев дома нет.

– Ну?

– Думал, тебе долго ждать, бачка, ты издохнешь.

- Ну?
- Я медведь рубил, и лапу взял, и назад бежал, а ему шапку клал.
- Зачем?
- Чтобы он дурно, бачка, не думал.
- Да ведь тебя этот хозяин не знает.
- Этот, бачка, не знает, а другой знает.
- Который другой?
- А тот хозяин, который сверху смотрит.
- Гм! Который сверху смотрит?...
- Да, бачка, как же: ведь он, бачка, все видит.
- Видит, братец, видит.
- Как же, бачка? Он, бачка, не любит, кто худо сделал.

Рассуждение весьма близкое к тому, какое высказал св. Сирин соблазнявшей его прелестнице, которая манила его к себе в дом, а он приглашал ее согрешить всенародно на площади; та говорит: «Там нельзя; там люди увидят», а он говорит: «Я на людей-то не очень бы посмотрел, а вот как бы нас Бог не увидал? Давай-ка лучше разойдемся».

«Ну, брат, – подумал я, – однако ты от Царства Небесного недалеко ходишь»; а он во время сей краткой моей думы кувырнулся в снег.

– Прощай, – говорит, бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопел своим могучим обычаем.

Это уже было темно; над нами опять разостлалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды.

Я тогда уже немножко препитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса, и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя:

«Что за загадочное странствие совершает этот чистый, высокий дух в этом неуклюжем теле и в этой ужасной пустыне? Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему Творца в более просторном и ясном понятии? Для чего, о Боже, лишен он возможности благодарить Тебя за просвещение его светом Твоего Евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением Тебе Христом Твоим? Должна же быть на все это воля Твоя; если Ты, в сем печальном его состоянии, вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верую, что сей свет ума его есть дар Твой! Владыко мой, како уразумею: что сотворю, да не прогневолю Тебя и не оскорблю сего моего искреннего?»

И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом: все приняло опять огромные, фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным могучим сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел, и – что я скажу вам? – он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила; тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы; тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня от бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысел. Скучно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением губ, а слово его – это искра в движении его сердца. Как красноречива его добродетель, и кто решится огорчить его?... Во всяком разе не я. Нет, жив Господь, огорчивший ради его душу мою, – это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей и рука моя отломится от моего локтя, если я подниму его на сего бедняка и на бедный род его! Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобою, и сейчас с тобою не согласен, что будто «самые добродетели языческие суть только скрытые пороки». Нет; сей, спасший жизнь мою, сделал это не по чему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству; он, не зная апостольского завета Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавал душу свою в благотворение». Он поки-

нул свой трюх и бежал сутки в ледяной шапке, конечно, движимый не одним естественным чувством сострадания ко мне, а имея также religio, 1 Восстановительная связь, воссоединение (лат.). – дорожа воссоединением с тем Хозяином, «Который сверху смотрит». Что же я с ним сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религию и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнейшей, я лишен возможности дать ему, доколе «слова путают смысл смертного», а дел, для пленения его, показать невозможно? Неужто я стану страхом его нудить или выгодою защиты обольщать? Никогда, да не будет он как Еммор и Сихем, обрезавшиеся ради дочерей и скотов Иаковлевых! Скотов и дочерей верою приобретающие – не веру, а дочерей и скотов только приобрящут, и семидал от рук их будет тебе яко же и кровь свиная. А где же мои средства его воспитать, его просветить, когда нет их, этих средств, и все как бы нарочно так устроено, чтобы им не быть в моих руках? Нет; верно, прав мой Кириак: здесь печать, которой несвободною рукой не распечатаешь; и благ мне по мысли пришел совет Аввакума-пророка: «Аще умедлит, потерпи ему, яко идый приидет и не умедлит». Ей, гряди, Христос, ей, гряди Сам в сие сердце чистое, в сию душу смирную; а доколе медлишь, доколе не изволишь сего... пусть малы ему будут эти снежные глыбы его долин, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза – дозревшую ягоду, как дикая маслина – цветок свой... Не мне ставить в колодцы ноги его и преследовать его стези, когда сам Сый написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону от дел гнева. Авва, Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословен до века таким, каким Ты по благодати Своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нет больше смятения в сердце моем: верю, что Ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и всё тебя знает:

Largior hic campos aether et lumine bestit
Purpureo, solemque sum, sua sidera norunt!

Пышнее здесь эфир одевает пространства и убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои (лат.).

подсказал моей памяти старый Вергилий, – и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его, и, покрыв его мерзлую голову своею полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись с пустынным ангелом.

Глава двенадцатая

Досказывать ли вам конец? Он не мудрее начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладил под меня принесенные им лыжи, вырубил мне шест, всунул в руки и научил, как его держать; потом подпоясал меня веревкою, взял ее за конец и поволок за собою.

Спросите: куда? Прежде всего за медвежатину долг платить. Там мы надеялись взять собак и ехать далее; но поехали не туда, куда вначале влекла меня моя неопытная затея. В дымной юрте нашего кредитора ждало меня еще одно поручение, имевшее весьма решительное значение на всю мою последующую деятельность. В том было дело, что хозяин, которому мой дикарь шапку покинул, совсем не в охоту в то время ходил, когда прибежал мой избавитель, а он выручал моего Кириака, которого обрел брошенного его крещеным проводником среди пустыни. Да, господа, тут, в юрте, близ тусклого вонючего огня, я нашел моего честного старца, и в каком ужасном, сердце сжимающем положении! Он весь обмерз; его чем-то смазали, и он еще жив был, но ужасный запах, который обдал меня при приближении к нему, сказал мне, что дух, стерегший дом сей, отходит. Я поднял покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отделила все мясо его ног от кости, но он еще смотрел и говорил. Узнав меня, он прошептал:

– Здравствуй, владыко!

В несказанном ужасе я глядел на него и не находил слов.

– Я ждал тебя, вот ты и пришел; ну, слава Богу. Видел степь? Какова показалась?...

Ничего – жив будешь, опыт иметь будешь.

– Прости, – говорю, – меня, отец Кириак, что я тебя сюда завел.

– Полно, владыко. Благословен будь приход твой сюда; опыт получил, и живи, а меня скорей исповедуй.

– Хорошо, – говорю, – сейчас; где же у тебя Святые Дары, – они ведь с тобой были?

– Со мной были, – отвечает, – да нет их.

– Где же они?

– Их дикарь съел.

– Что ты говоришь!

– Да!.. съел! Ну что говорить, – темный человек... спутан ум... Не мог его удержать... говорит: «Попа встречу – он меня простит». Что говорить?... все спутал...

– Неужто же, – говорю, – он и миро съел!

– Все съел, и губочку съел, и дароносицу унес, и меня бросил... верит, что «поп простит»... Что говорить?... спутан ум...

простим ему это, владыко, – пусть только нас Христос простит. Дай слово мне не искать его, бедного, или... если отыщешь его...

– Простить?

– Да; Христа ради прости и... как приедешь домой, гляди, вражкам ничего о нем не сказывай, а то они, лукавые, пожалуй, над бедняком-то свою ревность покажут. Пожалуйста, не сказывай.

Я дал слово и, опустясь возле умирающего на колени, стал его исповедовать; а в это самое время в полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила в свой бубен; ей пошли подражать на деревянном камертоне и еще на каком-то непонятном инструменте, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всяческого рода муссикии, повергались ниц перед истуканом деирского поля, – и началось дикое торжество.

Это моление шло за нас и за наше избавление, когда им, может быть, лучше было бы молиться за свое от нас избавление, и я, архиерей, присутствовал при этом молении, а отец Кириак отдавал при нем свой дух Богу и не то молился, не то судился с Ним, как Иеремия-пророк, или договаривался, как истинный свинопас евангельский, не словами, а какими-то воздыханиями неизглаголанными.

– Умилосердись, – шептал он. – Прими меня теперь как одного из наемников твоих! Настал час... возврати мне мой прежний образ и наследе... не дай мне быть злым дьяволом в аде; потому грехи мои в крови Иисуса, пошли меня к Нему!.. хочу быть прахом у ног Его... Изреки: «Да будет так»...

Перевел дух и опять зовет:

– О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Иисусе!.. вот я бегу к Тебе, как Никодим, ночью; вари ко мне, открой дверь... дай мне слышать Бога, ходящего и глаголющего!.. Вот... риза Твоя уже в руках моих... сокруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколе не благословишь со мной всех.

Люблю эту русскую молитву, как она еще в двенадцатом веке вылилась у нашего Златоуста, Кирилла в Турове, которою он и нам завещал «не токмо за свои молиться, но и за чужия, и не за единых христиан, но и за иноверных, да быша ся обратили к Богу». Милый старик мой Кириак так и молился – за всех дерзал: «всех, – говорит, – благослови, а то не отпущу Тебя!» Что с таким чудачком поделаешь?

С сими словами потянулся он – точно поволокся за Христовою ризою, – и улетел... Так мне и до сих пор представляется, что он все держится, висит и носится за ним, прося: «благослови»

слова всех, а то не отстану». Дерзкий старичок этот своего, пожалуй, допросится; а тот по доброте своей ему не откажет. У нас ведь это все *in sancta simplicitate* семейно со Христом делается. Понимаем мы его или нет, об этом толкуйте как знаете, но что мы живем с ним запросто – это-то уже очень кажется неоспоримо. А он попросту сильно любит...

Глава тринадцатая

Я схоронил Кириака под глыбой земли на берегу замерзшего ручья и тут же узнал от дикарей гнусную новость, что мой успешный зырянин крестил... стыдно сказать – с угощением, попросту – с водочкой. Стыдом это в моих глазах все это дело покрыло, и не захотел я этого крестителя видеть и слышать о нем, а повернул назад к городу с решимостью сесть в своем монастыре за книги, а в промежутках времени смиренно стричь ставленников, да дьячих с мужьями мирить; но за святое дело, которое всвяте совершать нельзя кое-как, лучше совсем не трогаться – «не давать безумия Богу».

Так я и сделал – и вернулся в монастырь умудренный опытом, что многострадальные миссионеры мои люди добрые и слава Богу, что они такие, а не иные.

Теперь я ясно видел, что добрая слабость прощительнее ревности не по разуму – в том деле, где нет средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна – в этом убеждала меня дождавшаяся меня в монастыре бумага, в коей мне сообщалось «к сведению», что в Сибири, кроме пятисот восьмидесяти буддийских лам, состоящих в штате при тридцати четырех кумирнях, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? Ведь я не Канюшкевич или не Арсений Мациевич, – я епископ школы новой и с кляпом во рту в Ревеле сидеть не хочу, как Арсений сидел, да от этого и проку нет... Я принял известие об усилении лам «к сведению» и только вытребовал, как мог поскорее, к себе назад из степей зырянина и, навесив ему за успехи набедренник, яко меч духовный, оставил его в городе при соборе ризничим и наблюдателем за перезолоткою иконостаса; а он своих ленивеньких миссионеров собрал да, в пояс им поклонясь, сказал:

– Простите меня, отцы и братия, что вашу доброту не понимал.

– Бог, – говорят, – простит.

– Ну, мол, спасибо, что вы милостивы, и будьте отныне везде и всегда паче всего милостивы, и Бог милосердия будет на делах ваших.

И с тех пор во все мое остальное, довольно продолжительное пребывание в Сибири я никогда не смущался, если тихий труд моих проповедников не давал столь любимых великосветскими религиозными нетерпеливцами эффективных результатов. Когда не было таких эффектов, я был покоен, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого из миссионеров являлась вдруг большая цифра... я, признаюсь вам, чувствовал себя тревожно... Мне припоминался то мой зырянин, то оный гвардейский креститель Ушаков либо советник Ярцев, которые были еще благопоспешнее, понеже у них, якоже и во дни Владимира, «благочестие со страхом бе сопряжено», и инородцы у них, да еще до приезда миссионеров, уже просили крещения... Да только что же из всей их этой борзости и «благочестия со страхом сопряженного» вышло? Мерзость запустения стала по святым местам, где были купели сих борзых крестильников, и... в этом путалось все – и ум, и сердце, и понятия людей, и я, худой архиерей, не мог с этим ничего сделать, да и хороший ничего не сделает, пока... пока, так сказать, мы всерьез станем заниматься верою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вот, господа, в каком положении бываем мы, русские крестители, и не оттого, чай, что не понимаем Христа, а именно оттого, что мы его понимаем и не хотим, чтобы имя Его хулилось во языцех. И так я и жил уже, не лютуя с прежнею прытью, а терпеливо и даже, может быть, леностно влача кресты, от Христа и не от Христа на меня ниспадавшие, из коих замечательнейшим был тот, что я, ревностно принявшись за изучение буддизма, сам рачением моего

зырянина прослыл за потаенного буддиста... Так это при мне и осталось, хотя я, впрочем, ревность своего зырянина не стеснял и предоставлял ему орудовать испытанными, по своей верности, приемами князя Андрея Боголюбского, о коих выкликал над его гробом Кузьма-домочадец: «Придет, дескать, бывало, язычник, ты велишь его вести в ризницу, – пусть смотрит на наше истинное христианство». И я зырянину предоставил кого он хочет водит в ризницу и все собранное там от нашего с ним «истинного христианства» со тщанием показывать... И было все это хорошо и довольно действенно; наше «истинное христианство» одобряли, но только, разумеется, может быть, моему зырянину казалось скучно по два да по три человека крестить, да и впрямь оно скучно. Вот и до настоящего русского слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бороться с самодовольным невежеством, терпевшим веру только как политическое средство; зато теперь, может быть, еще скучнее бороться с равнодушием тех, которые, заместо того чтобы другим светить, по удачному выражению того же Мациевича, «сами насилу веруют...» А вы ведь, современные умные люди, все думаете: «Эх, плохи наши епархиальные архиереи! Что они делают? Ничего они, наши архиереи, не делают». Не хочу за всех заступаться: многие из нас действительно очень немощны стали: под крестами спотыкаются, падают и уже не то что когда-нибудь, – заправский воротила, и даже иной *pora mitratus* I Митрофорный священник (лат.) – то есть священник, награжденный митрой. для них в своем роде владыкой становится, и все это, разумеется, из того, «что митрополит хотите дати», но а спросил бы я вас: что их до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархиальные архиереи, обращены в администраторов и ничего живого не могут теперь делать? И знаете: вы, может быть, большою благодарностию им обязаны, что они в эту пору ничего не делают. А то они скрутили бы вам клейменым ремнем такие бремена неудобноносимые, что Бог весть, расселся ли бы хребет вдребезги или разлетелся бы ремень пополам; но мы ведь консерваторы: бережем, как можем, «свободу, ею же Христос нас свободи», от таковых «содействий»... Вот, господа, почему мы слабо действуем и содействуем. Не колите же нам глаз бывшими иерархами, как св. Гурий и другие. Св. Гурий умел просвещать – это правда; да ведь он для того и ехал-то в дикий край хорошо оснащенный: с наказом и с правом «привлекать народ ласкою, кормами, заступлением перед властями, печалованием за вины перед воеводам и судьями»: «он обязан был» участвовать с правителями в совете; а ваш сегодняшний архиерей даже со своим соседом архиереем не волен о делах посовещаться; ему словно ни о чем не надо думать: за него есть кому думать, а он обязан только все принять «к сведению». Чего же вы от него хотите, если ему ныне самому за себя уже негде стало печаловаться?... Эх, твори, Господи, волю Свою... Что может еще делаться, то как-то пока само делается, и я это видел под конец моего пастырства в Сибири. Приезжает раз ко мне один миссионер и говорит, что он напал на кочевье в том месте, где я зарыл моего Кириака, и там, у ручья, целую толпу окрестил в «Кириакова Бога», как крестился некогда человек во имя «Бога Иустинова». Добрый народ у костей доброго старца возлюбил и понял Бога, сотворившего сего добряка, и сам захотел служить Богу, создавшему такое душевное «изящество».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.